

Борис ХАЗАНОВ

Час короля



ImWerdenVerlag
München 2006

© Хазанов Б. Час короля, Антивремя: повесть, Московский роман (пред. Б. Сарнова), М., СП «Слово», 1991
© Бенедикт САРНОВ. Предисловие (В сокращении)
© «Im Werden Verlag». Некоммерческое электронное издание. 2006. OCR: Виталий Адаменко
<http://imwerden.de>

С автором этой книги Геннадием Файбусовичем (он тогда еще не был Борисом Хазановым) меня познакомил Борис Володин, работавший тогда в журнале «Химия и жизнь». Люди, делавшие этот журнал, ни в коей мере не ограничивали себя ни узкими рамками только одной науки (в данном случае — химии), ни какими-либо жанровыми границами. Кто-то из знакомых будущего Бориса Хазанова предложил ему написать для этого журнала какую-нибудь статью. Скажем, о медицине. Или о биологии. (По образованию Геннадий Моисеевич был медиком и работал тогда врачом в одной из московских больниц).

Глянув на статью опытным редакторским глазом, Володин сразу понял, что имеет дело с литератором высокого профессионального класса. Это, понятно, его удивило.

— А вы еще что-нибудь до этого писали? — поинтересовался он.

Автор статейки, помявшись, признался, что да, действительно, писал.

— А вы не могли бы мне показать *всё* когда-либо вами написанное?

Без особого восторга, не слишком даже охотно, тот согласился. Прочитав это «все», Володин позвонил мне. Следом за ним повести и рассказы Геннадия Файбусовича (а их к тому времени было написано уже немало) прочитал и я. Прочитал и, что называется, разинул рот. Передо мной был вполне сложившийся, законченный писатель, со своим миром, своим художническим зрением. Но самым удивительным, пожалуй, тут было то, что проза эта была отмечена не только печатью несомненного художественного дарования, но и несла на себе все признаки зрелого, утонченного, я бы даже сказал, изысканного мастерства. Видно было, что автор — далеко не новичок в писательском деле.

— Давно вы пишете? — задал я стереотипный вопрос, когда мы встретились.

Ответ последовал неопределенный. Но я и не ждал определенного ответа. Мне было ясно: чтобы *так* писать, надо было начать давно. Очень давно. В самой ранней юности. И отдаваться этому занятию не урывками, а постоянно. Всю жизнь.

Впоследствии выяснилось, что так оно в действительности и было. Но тогда я расспрашивать его об этом не стал. Я только спросил, давал ли он до меня и Володина кому-нибудь еще читать свои прозаические опыты. Выяснилось, что читала его повести и рассказы только жена. И ей они не нравятся.

— И у вас никогда не было потребности показать их еще кому-нибудь?

Он в ответ только пожал плечами.

Такое отношение к своим писаниям показалось мне по меньшей мере странным. В нашей литературной среде оно выглядело не то что необычным, а прямо-таки поразительным. Еще с литинститутских времен я привык, что каждый из нас, написав «что-нибудь новенькое», тотчас спешит сообщить об этом всем окружающим и с нетерпением ждет непременно: «прочти», или: «дай почитать», чтобы поскорее получить долю причитающихся ему комплиментов. Впрочем, дело было не только в жажде аплодисментов. Больше всего на свете каждый из нас боялся вызвать подозрение в литературной импотенции. Литератор подобен курице, которая, снеся яйцо, долго кудахчет над ним, стремясь оповестить об этом важном событии всю вселенную.

Я подумал тогда, что отсутствие у моего нового знакомого потребности делиться результатами своего труда с кем бы то ни было обусловлено тем, что у него — сознание *дилетанта*, то есть человека, для которого литературные занятия — не профессия, а — *хобби*. Ну и, конечно, — мелькнула мысль, — не обошлось здесь и без некоторого чудачества, порожденного то ли индивидуальными особенностями характера, то ли обстоятельствами сугубо биографическими. (Я уже тогда знал, что, будучи студентом последнего курса классического отделения филфака МГУ, он был арестован и шесть лет провел в сталинских лагерях, а после лагеря, перечеркнув всю свою прошлую долагерную жизнь, поступил на медицинский факультет, окончил его, стал врачом, тем самым как бы окончательно поставив крест на «гуманитарных» увлечениях своей юности. Кто знает, может быть, втайне он даже стыдится признаться вслух, что до седых волос не может расстаться со своей «детской» страстью к литературе.)

В какой-то мере эти мои предположения, вероятно, были не беспочвенны. Во всяком случае — в той своей части, которая относилась к индивидуальным особенностям характера, вернее, к тому, что принято называть экзистенцией, то есть коренными, сущностными свойствами личности. Но, как выяснилось впоследствии, было тут и другое.

За этим образом поведения лежала сложившаяся, выношенная, во всех своих подробностях и деталях продуманная концепция.

Эту концепцию Борис Хазанов несколько позже изложил в одном частном письме, адресованном неизвестному молодому литератору. Письмо представляло собой документ в известном смысле программный. Оно даже было несколько торжественно озаглавлено «Письмом к писателю». Но, в полном соответствии с характером автора и исповедуемой им теорией, так и осталось частным письмом и, насколько мне известно, никогда нигде не публиковалось.

В этом «Письме» автор развивал любимую свою мысль, которую он частенько повторял в наших с ним постоянных разговорах на литературные темы. Речь шла о так называемой «неклассической литературе» и ее связи с «неклассической физикой». Классический роман XIX века он сопоставлял с картиной мира, описанной Ньютоном, уподоблял его ньютоновской, компактной, прочно устроенной вселенной, где все происходит точно в соответствии с законами, где все будущее строго зависит от всего прошедшего.

В те времена предполагалось, что существует некоторый общеобязательный объективный мир и некоторая идеальная точка зрения, с которой этот мир может быть созерцаем наиболее совершенным образом: это и есть точка зрения художника. Время в этом мире было чем-то безусловно объективным, то есть протекающим для всех с одной и той же скоростью, что доводилось до сознания читателя при помощи классической линейной последовательности изложения: все следствия происходили после причин, герои никогда не умирали прежде, чем родиться. («Время в моем романе расчислено по календарю», — заверял читателей своего «Онегина» Пушкин.)

И вот эта уютная, прочная и толково устроенная вселенная рухнула.

Великой революции в физике соответствует столь же грандиозная революция в искусстве. И подобно тому, как эта первая революция связывается обычно с именем Эйнштейна, так вторая по праву должна быть связана с именем Достоевского. Именно Достоевским, утверждает Борис Хазанов, был впервые дискредитирован объективный мир, а вместе с ним и всезнающий, всевидящий, всепонимающий мирописатель. В старом романе художник был подобен творцу, единодержавному Богу: он незримо присутствовал везде, но его не было видно. Он воплощал ту идеальную точку зрения, с которой видно все: весь мир и все души. И никому не приходило в голову спросить: а откуда автор знает, о чем думала Анна Каренина за миг до смерти, ведь она ни с кем не успела поделиться этими своими мыслями? Такой вопрос

не мог даже и возникнуть: на то он и автор, чтобы знать самые сокровенные мысли созданных им персонажей.

И вот этот Бог исчез. И точка зрения, с которой отныне имеет дело читатель, уже, оказывается, вовсе для него не обязательна, потому что вдруг, неожиданно-негаданно выяснилось, что нет на свете истины, одинаковой для всех: любая точка зрения более или менее случайна. И время, бывшее в старом классическом романе единым для всех, теперь для разных персонажей протекает по-разному. Романист XX века обращается с временем весьма свободно: он то стужает его, то растягивает...

Я не стану более подробно излагать суть этой концепции современного искусства: полагаю, что даже в этом моем довольно неуклюжем изложении основная мысль Б. Хазанова достаточно ясна. Стоит, пожалуй, только добавить, что «Письмо», в котором он излагал эти свои соображения, было подлинным гимном вот этой самой новой, неклассической прозе, в которой «мир предстает перед нами искривленным и поначалу кажется иррациональным. Но этот мир, в котором читатель чувствует себя заблудившимся, как Дант, потерявший Виргилия, пронзительно правдив».

Борисом Хазановым движет уверенность, что старый, классический роман неспособен правдиво отразить действительность, в которой мы живем. Он не говорит об этом прямо, но мысль его именно такова, тут не может быть сомнений.

«Можно было бы объяснить, — замечает он, — откуда возникла такая концепция. Она — порождение века, в котором человек перестал чувствовать себя хозяином не то чтобы на всей планете, — этого, слава Богу, никогда не было, — но на своем маленьком клочке земли, в своей собственной квартире. Она детище того времени, когда каждый ощущает себя обездвиженным придатком, а то и рудиментом, в чудовищно сложном и непостижимом мире, который отлично может обойтись без него; когда все мы точно висим на подножке переполненного трамвая; когда стоимость человеческой личности стремительно падает и каждый на самом себе испытывает тяжесть гнета анонимных человеческих институтов, непостижимым образом ведущих самостоятельное, не зависящее от воли людей существование, — армии, государства, тайной и явной полиции, идеологического аппарата и механизмов массовой информации. Вместе с тем это искусство представляет собой героическую и по-своему действительную попытку отстоять человечность в обезличенном и обезчеловеченном мире».

Последняя фраза нуждается в некоторых разъяснениях.

Героические стимулы всегда были свойственны искусству. Классической прозе XIX века не в меньшей мере, нежели той «неклассической прозе», убежденным приверженцем и апологетом которой выступает в этом отрывке Борис Хазанов.

Один из самых глубоких исследователей творчества Л. Н. Толстого Б. М. Эйхенбаум посвятил этой теме специальную статью. Рассуждая о стимулах, побуждавших Льва Николаевича творить, он приводил отрывок из письма автора «Анны Карениной» А. А. Толстой, написанного в 1874 году:

«Вы говорите, что мы как белка в колесе... Но этого не надо говорить и думать. Я по крайней мере, что бы я ни делал, всегда убеждаюсь, что *du haut de ces pyramides 40 siecles me contemplent* (с высоты этих пирамид сорок веков смотрят на меня) и что весь мир погибнет, если я остановлюсь».

Приведя эту цитату, Б. Эйхенбаум так ее комментирует:

«Речь здесь идет именно о стимулах: Толстой не хочет соглашаться, что мы «как белка в колесе»... В противовес формуле «как белка в колесе», он приводит слова Наполеона, сказанные в Египте... Но следом за этой формулой приводится другая, ведущая свое происхождение из философии Шопенгауэра и еще более многозначительная: *«Весь мир погибнет, если я остановлюсь»*. Толстой, оказывается, чувствует себя центром мира, его главной движущей силой — солнцем, от деятельности которого зависит вся жизнь. Как ни фантастичен стимул — он составляет действительную основу его по-

ведения и его работы... Это больше чем «вдохновение», — это то ощущение, которое свойственно героическим натурам... Совсем не этика руководила Толстым в его жизни и поведении: за его этикой как подлинное правило поведения и настоящий стимул к работе стояла *героика*».

Вывод этот, при всей своей кажущейся убедительности, не представляется мне вполне справедливым. Толстой ведь прекрасно понимал, что мир не погибнет, если он прекратит свою работу. Более того: в глубине души он, вероятно, понимал даже, что деятельностью своей, сколь гигантским ни было бы воздействие ее на людей, он не в силах хоть сколько-нибудь изменить ход мировой истории, хоть на йоту отклонить развитие мировых событий от «заданного курса»: вся философия истории Л. Н. Толстого может служить подтверждением несомненности этого вывода.

В письме к Н. Страхову, жалуясь на очередную остановку в работе, Толстой вскользь обронил: «Все как будто готово для того, чтобы писать — исполнять свою земную обязанность, а недостает толчка веры в себя, в важность дела, недостает энергии заблуждения...»

Поразительное словосочетание это — *энергия заблуждения* — с исчерпывающей ясностью объясняет смысл его формулы: «весь мир погибнет, если я остановлюсь». Формулу эту ни в коем случае не следует понимать буквально. Это чувство, это сознание, что весь мир остановится, если он прекратит работу над своим романом, — всего лишь *энергия заблуждения*, то есть самообман, без которого он не может творить. Да и в письме к А. А. Толстой, которое цитирует Б. Эйхенбаум, эта мысль просвечивает довольно ясно. Толстой ведь прямо говорит там, что ему, в сущности, нет дела до того, живем ли мы и работаем «как белка в колесе». Пусть даже это действительно так. Чтобы жить и работать, «этого не надо говорить и думать».

В сущности, Толстой рассуждает как экзистенциалист: пусть моя жизнь и работа не имеют ни малейшего смысла, я все равно должен жить и работать так, как будто мир погибнет, если я остановлюсь.

Но если это так, в чем же тогда разница между героическими стимулами, движущими пером Льва Толстого, и героическими стимулами, побуждающими творить писателей новой эпохи?

Разница в том, что на тех писателей, от имени которых говорит в своем «Письме» Борис Хазанов, никакая энергия заблуждения уже не действует. В том мире, где им предстоит жить, источники этой энергии давно иссякли. Ни при каких обстоятельствах, никакими силами они уже не смогут заставить себя поверить, что их работа может хоть что-нибудь изменить в мире, где «все мы точно висим на подножке переполненного трамвая». Но даже ощущая себя «обездвиженным придатком в мире, который отлично может обойтись без него», он упорно, настойчиво, вопреки всем запретам и помехам, продолжает заниматься своим делом. Не потому что верит, что это нужно его ближним или «дальним», современникам или потомкам, читающей публике сезона или человечеству, а только лишь по той единственной причине, что это необходимо *ему самому*.

Ему было 15 лет, когда он сделал ошеломившее его открытие.

Но лучше пусть он расскажет об этом сам:

«Я жил чудной, магической жизнью подростка, которую я не в силах сейчас описать. Глухое татарское село, больница, где работала моя мать, с общим корпусом, как две капли воды похожим на флигель, где находилась палата No 6, холмы, поросшие лесом, река, сугробы, сани, звон почтового колокольчика, милиционер в форменной шинели и лаптях, деревенский базар, все впечатления никогда не виданной мною «почвы» перемешались в моей душе с образами книг, с «Разбойниками» и «Заговором Фиеско», с Фаустом, в котором больше всего меня поразили не приключения с Маргаритой, а таинственная обстановка средневековой кельи, знак макрокосма и духи, с

Герценом, со стихами Блока.. В это же время совершилось во мне то, что можно было бы назвать «кризисом веры».

Кризис заключался в том, что я перестал верить в советскую власть. Точнее, я перестал верить в то, чему учили, что говорилось о политике, о революции и социалистическом строе... Каждый день я открывал что-нибудь новое: каждый день падал какой-нибудь очередной глиняный идол. Так повалились одна за другой «первая в мире страна», «власть трудящихся», «дружба народов», «закон, по которому все мы равны», рухнул, разбившись вдребезги, и сам великий вождь и учитель... Как и подобает мыслящему человеку, я вел дневник, в котором начертаю, когда мне было 16 лет, мысль, казавшуюся мне необыкновенно оригинальной, о том, что «у нас здесь, в СССР, — фашизм!». Я рассуждал о том, что если бы Ленин был жив, то был бы наверняка объявлен врагом народа и расстрелян, вроде того как у Достоевского Великий инквизитор собирает сжечь Христа, действуя от его же имени».

Я сделал эту длинную выписку из неопубликованного автобиографического наброска автора этой книги не для того, чтобы показать, каким умным и проницательным подростком он был, как рано прозрел, как быстро открылись ему истины, которые многие его сверстники постигали десятилетиями, по капле выдавливая из себя прочно вбитые в их бедные головы фетиши. Цитата эта понадобилась мне для того, чтобы показать, какую огромную власть над его душой уже тогда имела литература. Все его жизненные впечатления, все социальные, политические и экономические откровения, рожденные первым столкновением (война, эвакуация) с реальностью советской жизни, переплетены, пронизаны литературными ассоциациями. Тут и чеховская «Палата № 6», и драмы Шиллера, и «Фауст» Гете, и Герцен, и Блок, и Великий инквизитор Достоевского...

Немудрено, что, окончив школу, он без колебаний выбрал для себя филологический факультет. Он не мыслил свою будущую жизнь вне литературы. Литература (точнее, классическая филология) должна была стать его профессией.

Но тут произошло событие, резко повернувшее всю его жизнь.

О причинах этого рокового события можно было бы не говорить, поскольку, как сказано в уже цитировавшемся мною его автобиографическом сочинении, в то время в нашей стране «вероятность попасть за колючую проволоку для каждого превысила вероятность заболеть раком, угодить под автомобиль или лишиться близкого человека».

И все-таки если не о причинах, то о конкретных обстоятельствах, послуживших поводом для его ареста, тут надо сказать. Потому что и тут дело не обошлось без художественной литературы.

«Я сидел в углу за крошечным столиком, — вспоминает он, — ночью, под яркой лампой, а в противоположном углу комнаты, на безопасном расстоянии, за массивным столом под портретом Лаврентия Берия сидел следователь и перелистывал бумаги; это могло продолжаться много часов. Вошел некто с рыбьим выражением лица, следователь протянул ему листок со стихами, они действительно были переписаны моей рукой.

Я смерть зову, смотреть не в силах боле,
Как гибнет в нищете достойный муж,
А негодяй живет в красе и холе...

Человек смерил меня взглядом и произнес:

— Хорош фрукт, а?!»

Казалось бы, это комическое недоразумение тотчас же должно было разъясниться: стоило только подследственному тактично разъяснить следователю, что инкрими-

нируемые ему крамольные стихи сочинил отнюдь не он, а Шекспир. И поскольку сочинены они были без малого четыреста лет назад, их ни при каких обстоятельствах нельзя считать клеветой «на советский общественный и государственный строй».

Но вся штука в том, что сам он, оказывается, вовсе не считал случившееся недоразумением, поскольку «стихи с абсолютной точностью выражали отношение подследственного к славной действительности первого в мире социалистического государства, к его охранительным силам, к его вождю, они удостоверяли правильность доносов, лежавших на столе у следователя, — это и было главным. Поэтому было бы лицемерием называть себя жертвой беззакония».

Впрочем, 66-й сонет Шекспира, переписанный его рукой и обнаруженный в его бумагах, был не единственным и даже не главным содержанием заведенного на него дела.

Главным содержанием дела оказалось другое, уже не столь зыбкое и эфемерное, а куда более основательное обвинение. Роковым образом оно тоже было связано с гибельной страстью подследственного к художественной литературе.

«Вскоре после войны, — вспоминает он, — в Москве вышел роман Ганса Фаллады «Каждый умирает в одиночку»... Незачем пересказывать содержание этой достаточно известной книги. Я скажу о ней лишь несколько слов. В ней рассказано о стране, где все боялись друг друга, потому что каждый подозревал в другом доносчика. Люди затыкали уши, чтобы не слышать слова правды, и поэтому тот, кто осмеливался их произнести, был заведомо обречен. Он был обречен задолго до того, как был выслежен и арестован. В этой книге комиссар Эшерих объясняет уличному бродяге, что бывает с теми, кого схватит тайная полиция:

«Знаешь, Клуте, они посадят тебя на стул и направят на тебя сильную лампу, и тебе придется смотреть на эту лампу, и ты будешь изнемогать от жары и яркого света. И они будут тебя допрашивать, долгими часами, они будут меняться, но тебя никто не сменит...»

В том же самом городе жил один рабочий-краснодеревщик. Он был тихий и незаметный человек. Однажды он получил известие, что его сын погиб во Франции. И вот этот человек, который никогда не интересовался политикой, затеял странное и опасное предприятие. Он купил нитяные перчатки, ибо он был очень осторожен, этот незаметный человек, он слышал, что от пальцев остаются отпечатки, — надел их и старательно, печатными буквами написал открытку с пропагандой против Гитлера. С тех пор каждое воскресенье он писал такие открытки, по одной в день, потом отправлялся в какую-нибудь отдаленную часть города, заходил наугад в подъезд и оставлял открытку перед чьей-нибудь дверью или бросал в почтовый ящик. Он представлял себе, какое они возбудят брожение в умах, как их будут передавать из рук в руки, рассказывать о них друзьям.

А в это время комиссар, занимавшийся делом Невидимки, аккуратно втыкал флажки на большой карте города Берлина, отмечая места, где были подобраны открытки. За два года их набралось почти две сотни, и все они, сложенные стопкой, лежали на столе у комиссара. Полиции не пришлось их разыскивать; люди сами несли их в гестапо, едва успев пробежать глазами первую строчку... В этой книге, которую я не решаюсь перечитывать, чтобы не разочароваться в ней, меня поразило сходство атмосферы. Я недоумевал, как всевидящая цензура не заметила опасности произведения, описывающего почти то же самое, что было в нашей стране, — но странным образом остался глух к его безжалостной и безнадежной морали. Способ протеста, изобретенный краснодеревщиком Отто Квангелем, очаровал меня, и я поделился своими планами с двумя самыми близкими друзьями, один из которых давно уже писал о нас донесения комиссару Эшериху, сидевшему в своем кабинете в высоком доме на площади Дзержинского».

Рассказывать о том, что такое сталинские лагеря, как ломают и корежат они душу человека, — не говоря уже о его брэнном теле, — нет необходимости. Немудрено, что, выйдя из лагеря с сомнительными документами, запрещавшими проживание в столицах, Геннадий Файбусович о филологии уже не помышлял. Он поступил на медицинский факультет и окончил его. Может быть, какая-то душевная склонность к медицине у него и была. Но главной причиной, определившей этот новый выбор профессии, я думаю, был все-таки его лагерный опыт. Многие мои друзья и знакомые, выйдя из «зоны» на свободу, поспешили, — кто всерьез, а кто хоть накоротке, — овладеть какими-то медицинскими познаниями. Камил Икрамов, например, выучился на фельдшера. С пятнадцати лет скитаясь по лагерям, он убедился, что стать лагерным «лепилой» едва ли не самый верный способ выжить в тех нечеловеческих условиях. А уверенности в том, что лагерь вновь не протянет к нему свои всеильные щупальца и не притянет его опять к себе, — такой уверенности тогда не было, да и не могло быть ни у кого из вернувшихся.

По этой ли, по другой ли причине, но Геннадий Файбусович решил стать врачом. И стал им. Жизнь постепенно налаживалась. Не сразу, после множества мытарств, но все-таки появились и справка о реабилитации, и московская прописка, и квартира, сперва скромная, крохотная, а потом сравнительно большая, по московским понятиям просто отличная. Стали налаживаться и литературные дела. Была написана и вышла в издательстве «Детская литература» книга об истории медицины, в том же издательстве появилась написанная им художественная биография Ньютона.

Став литератором-профессионалом, он наконец решил распрощаться со своей врачебной деятельностью, устроившись на работу в редакцию журнала «Химия и жизнь». Писал новую популярную книгу о медицине для издательства «Знание». Переводил философские письма Лейбница.

И вдруг все это хрупкое, ненадежное благополучие разлетелось вдребезги.

В один прекрасный день, точнее, в одно прекрасное утро в его квартиру вломились (это не метафора, — именно вломились) семеро молодчиков, назвавшихся следователями Московской прокуратуры. Предъявив ордер на обыск и «изъятие материалов, порочащих советский общественный и государственный строй», они унесли с собой рукопись романа, над которым он в то время работал. Рукопись была изъята, вся целиком, до последней странички. И рукописный оригинал, и машинописные копии (автор только начал перебеливать свой труд, успел перепечатать от силы пятую его часть).

Над романом, который у него отобрали, он работал три с половиной года. Работал самозабвенно, урывая для этого главного дела своей жизни каждую свободную минутку.

Самое поразительное во всей этой истории было то, что изъятый при обыске роман даже по понятиям и критериям того времени никаких устоев не подрывал и никакой общественный и государственный строй не порочил. Вы легко сможете в этом убедиться, поскольку речь идет об одном из произведений Бориса Хазанова, составивших эту книгу. Изъятый при обыске роман называется «Антивремя».

— Вот как! — облегченно вздохнете вы. — Стало быть, роман не пропал! Стало быть, автору его все-таки вернули!

И наверняка даже у кого-нибудь мелькнет утешительная, вселяющая оптимизм мыслишка, что вот, мол, что ни говори, а все-таки времена меняются к лучшему. При Сталине рукопись изъятого романа автору нипочем не вернули бы, каким бы невинным ни был этот роман по своему содержанию.

С сожалением вынужден огорчить тех из моих читателей, мысли которых уже настроились на такой оптимистический лад. Рукопись изъятого романа, хоть дело происходило и в новые, послесталинские времена, Борису Хазанову так и не вернули. Бесконечные жалобы, письма, ходатайства, бесконечные хождения в прокуратуру

не помогли. Рукопись так и осталась навеки похороненной в анналах «Министерства Любви», как назвал это таинственное ведомство Джордж Оруэлл в своем знаменитом романе. Может быть, она и по сей день обретается там среди пыльных дерматиновых папок, на которых вытиснен мрачный, горделивый девиз: «Хранить вечно». А может быть, ее сожгли или выкинули на помойку вместе с другими ненужными бумагами во время какого-нибудь очередного воскресника или субботника.

Что же касается текста романа, вошедшего в эту книгу, то он возник уже в другой, новой жизни его автора — в Мюнхене, где он оказался на положении политического эмигранта именно вследствие всей этой истории. Возник, как Феникс из пепла. (К вопросу о том, как именно это произошло, мы еще вернемся). Там же, в Мюнхене, этот восставший из пепла роман был опубликован. И автор не мог отказать себе в удовольствии послать один из авторских экземпляров в Москву, тому самому прокурору, который на все его просьбы и ходатайства вернуть рукопись незаконно изъятого романа неизменно накладывал одну и ту же суровую резолюцию: «Считаю нецелесообразным».

Удивляться такому поведению прокурора не приходится. Вряд ли, конечно, он хоть одним глазком заглянул в изъятую рукопись. Да если бы даже и заглянул, вряд ли мог хоть сколько-нибудь компетентно судить о том, имело ли смысл автору продолжать работу над этим сочинением. (Да и кто вообще мог бы об этом судить, кроме самого автора?). Вопрос о целесообразности (или нецелесообразности) тех или иных литературных занятий — не прокурорского ума дело. Это вопрос сугубо философский. Дать на него сколько-нибудь вразумительный ответ, как мы отчасти уже убедились, не мог даже Лев Толстой. (В письме к Д. Хилкову, написанном в 1899 году, во время работы над «Воскресением», Лев Николаевич так отвечал на этот проклятый вопрос: «Думаю, что как природа наделила людей половыми инстинктами для того, чтобы род не прекратился, так она наделила таким же кажущимся бессмысленным и неудержимым инстинктом художественности некоторых людей, чтобы они делали произведения, приятные и полезные другим людям. Это единственное объяснение того странного явления, что неглупый старик в 70 лет может заниматься такими пустяками, как писание романа».) Но то, что для Толстого было загадочным и необъяснимым, для прокурора не таило никаких загадок. Для него все определялось тем, что автор изъятого романа писал нечто *несанкционированное*. Да еще к тому же имел наглость заниматься этим делом, *не будучи членом Союза писателей*. Уже одного этого было довольно, чтобы отобрать у него (на всякий случай) рукопись подозрительного сочинения и ни при каких обстоятельствах эту рукопись ему не возвращать.

Но почему все-таки где-то там, в недрах «тайных канцелярий», возникла сама эта мысль о необходимости произвести обыск у ни в чем вроде бы не провинившегося сотрудника редакции, журнала «Химия и жизнь»? Иными словами, чем *по существу* был вызван этот внезапный налет следователей Московской прокуратуры на его квартиру?

Подлинной причиной этой «акции» было то, что в 1976 году Геннадий Файбусович под псевдонимом Борис Хазанов (именно тогда и возник этот псевдоним) опубликовал повесть «Час короля», которая сразу обратила на себя внимание всех, кому интересна и дорога русская литература. Эта повесть, рассказывающая о звездном часе короля, нашедшего на себя желтую звезду, чтобы разделить гибельную участь горстки своих подданных, — к несчастью автора, была опубликована в журнале, выходящем за рубежом. Хуже того! В журнале, который издавался тогда — о ужас! — в Иерусалиме.

Те, кто задумал и осуществил налет на квартиру писателя, вероятно, не сомневались, что факт публикации повести в таком неподобающем месте — более чем достаточное основание не только для обыска, но, может быть, даже и для чего-нибудь похуже. А между тем не мешало бы им задать себе простой вопрос: как и почему вы-

шло, что писатель, живущий в Москве, столице государства, разгромившего нацистскую Германию, написав антифашистскую, антигитлеровскую повесть, вынужден был опубликовать ее не у себя на родине, а в Израиле? Да еще под псевдонимом?

Не грех, конечно, было бы и нам немного поразмышлять на эту тему. Но это слишком далеко увело бы нас в сторону. Если же не слишком отвлекаться от главного нашего сюжета, тут уместнее было бы задать совсем другой вопрос.

Как же все-таки получилось, что человек, так крепко обжегшийся однажды на литературе, заплативший за эту свою страсть такую дорогую цену, решился вновь перешагнуть рубеж «запретной зоны»? Не знал он разве, что играет с огнем? Ведь только-только разразился судебный процесс над Синявским и Даниэлем, которые тоже пытались укрыться под псевдонимами. Но тайна вышла наружу, и они заплатили за эту свою опасную игру один — пятью, а другой — семью годами лагеря. А ведь он уже побывал однажды *за той чертой*. Неужто не страшна была ему мысль, что все это может повториться? Или в самом деле так силен этот «инстинкт художественности», о котором говорил Толстой, что человек, одержимый этим инстинктом, не в силах совладать с ним?

А может быть, тут действует не инстинкт, а какая-нибудь еще более могучая, *разумная* сила?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется заглянуть в повесть «Час короля» — ту самую, которой суждено было так круто переломить всю его судьбу.

У всех у нас издавна на слуху знаменитая, ставшая хрестоматийная фраза Флобера: «Эмма — это я». Я думаю, что Борис Хазанов с не меньшим основанием мог бы сказать: «Король Седрик — это я!»

Утверждение это может показаться весьма натянутым. В самом деле! Что общего может быть между импозантным, величественным королем Седриком, потомком королей, от рождения наделенным королевской поступью и осанкой, и полуголодным студентом, который сидел на занятиях в университете в старенькой отцовской шинели, не решаясь раздеться, потому что под шинелью у него были какие-то жалкие отрепья. Да, конечно, студент этот вырос, стал мужчиной и совершил ряд поступков, которые требовали, быть может, не меньшего мужества, чем поступок короля Седрика. Но Седрик совершил этот свой великолепный поступок открыто, при свете дня и стечении народа, как и подобает королю: эффектно, словно на театральных подмостках. Что же касается автора повести о короле Седрике, то он действовал, что называется, втихаря. Втихомолку, втайне от всех скрипел перышком, а закончив свой труд, даже не отважился поставить под ним свое имя.

Что же может быть общего между ними?

При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что общего не так уж мало.

Накануне того дня, когда, надев повязку с желтой звездой, рука об руку с королевой он прошел по улицам родного города (это и был его *звездный час*), королю Седрику приснился странный сон:

«...С мешком за спиной, уныло стуча палкой, он шел по дороге, и ветер доносил запах обугленного дерева: где-то горели леса; мало-помалу Седрика стали обгонять другие путники; дорога сделалась шире, вдали показался забор, в заборе ворота.

Огромная толпа с мешками, с корзинами, с перевязанными бечевкой чемоданами осаждала ворота, и было видно, как охранники били людей прикладами автоматов, стараясь восстановить порядок. С вышки в это столпотворение равнодушно взирали часовые... То и дело лязгал засов, чтобы пропустить одного человека. Ясно было, что ждать придется долго. У ворот маячила высокая светлая фигура Св. Петра.

Вместе с толпой Седрик медленно продвигался вперед. Сзади толкали. Стражник у входа листал захватанный список. Все это тянулось невероятно долго. Наконец

подошла его очередь. Апостол не торопил его, с презрительным терпением наблюдал, как Седрик развязывал мешок. В мешке были свалены органы — ужасное липкое месиво... дрожащими руками он стал вытаскивать почки, сердце, желудок, вынул и показал большую скользкую печень...

Петр мельком взглянул на органы, поморщился и махнул рукой; Седрик принялся торопливо запихивать все обратно. У него было тяжелое чувство, что он не сумел угодить. Такое чувство испытывает человек, у которого не в порядке документы».

Тут не мешает отметить, что при всей своей откровенной символичности сон короля Седрика предельно достоверен. Почки, сердце, желудок, большая скользкая печень, — весь этот *скарб*, который он несет с собою в мешке, символизирует, что *там*, за гробом, король уже ничем не отличается от самого убогого из своих подданных. Как любой смертный, он обладает здесь только тем, что было дано ему от природы. В то же время эта сумка с почками, печенью, желудком и прочей требухой вряд ли могла присниться математику, художнику или пианисту. Это — сон врача. А король Седрик у Бориса Хазанова — именно врач. И даже не просто врач, а — хирург.

Итак, король замешкался у врат рая.

«Апостол хмурился: Седрик задерживал очередь. Вдруг раздался оглушительный треск мотоциклов. Толпа шарахнулась в сторону, большой черный автомобиль подкатил к воротам, окруженный эскортом мотоциклов.

Выражение отчужденности исчезло, с лица апостола Петра, он приосанился, приняв какой-то даже чрезмерно деловой вид; стражники молча дирижируя толпой, отеснили всех подальше; ворота распахнулись. Стражники взяли под козырек. Седрик стоял в толпе, испытывая общие с нею чувства — сострадание, любопытство и благоговейный страх. Медленно пронесли к воротам гроб; мимо сотен глаз проплыли кружева газета, проплыл лакированный черный козырек фуражки и под ним туплеобразный крупный нос с усами, растущими как бы из ноздрей. Усы были крашенные. Седрик узнал человека, лежащего в гробу. Толпа, объятая священным ужасом, провожала взглядом гроб; на минуту она как бы прониклась уважением к себе, раз и «он» здесь. Гроб исчез в воротах, и створы со скрежетом сдвинулись; громыхнул засов. Тотчас все, словно опомнившись, бросились к воротам. Произошла драка, и те, кто раньше стоял впереди, оказались сзади... О Седрике же как будто забыли... Внезапная мысль осенила его, и он спросил, показывая на расщелину ворот: «А он? Почему его пропустили?»

«Он — это он», — буркнул голос.

«Но ведь он... вы понимаете, кто это?» — в отчаянии крикнул Седрик.

«Надо быть самим собой, — был ответ. — А ты — ни то ни се. — Говоря это, апостол жестом подозвал стражника» — Убрать, — приказал он коротко...»

Этот эпизод — ключ к пониманию не только повести Бориса Хазанова, но и всей его жизненной философии. Ключ к пониманию стимулов, управлявших каждым его поступком на протяжении всей его жизни.

Человек должен при всех обстоятельствах оставаться самим собой. Вот — «смысл философии всей». С кристальной, детской ясностью эту (не такую уж простую) мысль выразил легендарный еврейский мудрец — реб Зуся. Он сказал:

— Когда Господь призовет меня к себе, он не спросит меня: «Почему ты не стал Моисеем?» Он спросит: «Почему ты не стал Зусей?»

Рассуждая о могучем инстинкте, властно побуждающем его («неглупого старика в 70 лет») заниматься «такими пустяками, как писание романа», Толстой оставляет себе небольшую лазейку. Природа, — говорит он, — наделяет «некоторых людей *кажушимся бессмысленным инстинктом художественности*», чтобы они «делали произведения, приятные и полезные другим людям». Коли произведения эти не только приятны, но и полезны «другим людям», стало быть, писание романов — не такие

уж пустяки. Стало быть, странное занятие это — все-таки целесообразно. Вот почему пресловутый «инстинкт художественности» только *кажется* бессмысленным.

Король Седрик никаких таких лазеек себе не оставляет. Он надевает желтую повязку и гибнет только для того, чтобы остаться самим собой. Никаких других целей он не преследует.

В действительности все это как будто выглядело иначе. Реальный король надел повязку с желтой звездой, подав тем самым пример всем своим подданным. Те тоже надели повязки, и обреченные на смерть евреи затерялись в общей массе. Воспользовавшись замешательством, вызванным этой неразберихой, евреев вывезли за пределы страны. Они были спасены. Да и король, кажется, остался жив. Как-никак король — это король, и даже гитлеровцы не осмелились отправить его в концлагерь.

Автору «Часа короля» все эти мотивировки не нужны. Он не просто игнорирует их. Он их *отрицает*:

«Смерть Седрика не повлияла на исход войны, этот исход решили другие факторы — исторические закономерности эволюции рейха, реальная мощь противостоящих ему сил. Акт (или «номер»), содеянный монархом, не облегчил даже участи тех, в чью защиту он выступил, вопреки легенде о том, что-де под шумок удалось кое-кого переправить за границу, спрятать оставшихся и т. п.».

Изо всех сил автор повести старается доказать, что поступок короля Седрика был *абсурден*. Но именно в абсурдности и состоит все величие его поступка:

«Абсурдное деяние перечеркивает действительность. На место истины, обязательной для всех, оно ставит истину, очевидную только для одного человека. Строго говоря, оно означает, что тот, кто решился действовать так, сам стал живой истиной».

В глазах автора поступок его героя не нуждается в оправдании целесообразностью. Этот поступок — *самоценен*. Он нужен только королю Седрику. Больше никому. Нужен лишь для того, чтобы, когда Господь призовет его к себе и спросит: «Почему ты не стал Седриком?», он мог с чистым сердцем ответить: «Я сделал для этого все, что было в моих силах».

Тут, пожалуй, имеет смысл вернуться к роману Ганса Фаллады «Каждый умирает в одиночку», который сыграл такую зловещую роль в жизни моего героя. Впрочем, как мы сейчас увидим, не только зловещую.

«Эта книга в те годы зажгла меня, она казалась жутким откровением о нашей стране», — вспоминал он четверть века спустя о том впечатлении, которое она произвела на него в юности.

«Способ протеста, изобретенный краснодеревщиком Отто Квангелем, очаровал меня», — признается он. И, как нечто само собой разумеющееся, замечает, что случилось это потому, что, восхищаясь романом Фаллады, он «странным образом остался глух к его безжалостной и безнадежной морали».

Смысл этого замечания предельно ясен. Мораль романа безжалостна и безнадежна, потому что *все* открытки, написанные и отправленные Отто Квангелем, оказались в гестапо. Ни один из тех, к кому обращался, рискуя жизнью, старый краснодеревщик, не осмелился оставить открытку у себя. Мистический ужас, который внушало людям всевидящее око тайной полиции, парализовал души людей, напрочь задавив в них желание видеть, слышать, знать правду. Выходит, сопротивляться бессмысленно! Любая попытка протеста — безнадежна, заведомо обречена на провал.

Если исходить из того, что именно к этому выводу сводится мораль романа «Каждый умирает в одиночку», — Борис Хазанов прав. Если так, он и в самом деле «странным образом остался глух» к его морали.

В действительности, однако, мораль романа Ганса Фаллады вовсе не в том, что зло всеильно, а следовательно, всякое сопротивление тотальному злу — бессмысленно. На самом деле его мораль другая. Зло может раздавить, уничтожить, под-

мять под себя целую нацию, весь народ, говорит Ганс Фаллада своим романом. Но оно бессильно перед такой малостью, как человек. Способ сопротивления тоталитарному режиму, избранный краснодеревщиком Отто Квангелем, потерпел крах, если исходить из соображений пропагандистской целесообразности. Но автор романа бесконечно далек от соображений такого рода. С полным основанием он мог бы назвать свою книгу — «Каждый *побеждает* в одиночку». Подлинная мораль его романа в том, что протест имеет смысл даже если он безрезультатен, а протестант — заведомо обречен. И вот к этой морали Борис Хазанов не только не остался глух, но воспринял ее всем сердцем, всеми клетками мозга. Мало сказать — воспринял. Она стала его символом веры. Той зародышевой клеткой, из которой выросла вся его жизненная философия.

Настоящий писатель продолжает творить и на «необитаемом острове» с единственной целью: чтобы *для себя* отстоять человечность в обезличенном и обесчелоченном мире. Но из пустыни своего одиночества он «ломится наружу». Вот почему в конечном счете эта его героическая попытка оказывается предпринятой не только для себя, но и *для нас*.

Б. Сарнов

Я знаю, что без меня Бог не может прожить и мгновение; и если я превращусь в ничто, то и ему придется по необходимости испустить дух.

*Ангел Силезий (Иоганн Шефлер),
«Херувимский странник», 1657 г.*

Благодарение прозорливому Господу — жить со спокойной совестью больше невозможно. И вера не примирится с рассудком. Мир должен быть таким, как хочет Дон Кихот, и постоялые дворы должны стать замками, и Дон Кихот будет биться с целым светом и, по видимости, будет побит; а все-таки он останется победителем, хотя ему и придется выставить себя на посмешище. Он победит, смеясь над самим собой...

Итак, какова же эта новая миссия Дон Кихота в нынешнем мире? Его удел — кричать, кричать в пустыне. Но пустыня внимает ему, хоть люди его и не слышат; и однажды пустыня заговорит, как лес: одинокий голос, подобный павшему семени, взрастет исполинским дубом, и тысячи языков его воспоют вечную славу Господу жизни и смерти.

*Мигель де Унамуну,
«О трагическом ощущении жизни», 1913 г.*

В том-то и дело, что вы примирились с несправедливостью нашей участи настолько, что согласились усугубить ее собственной несправедностью, я же, напротив, полагаю, что долг человека — отстаивать справедливость перед лицом извечной неправды мира, твердить свое наперекор всесветному злу. Оттого, что вас опьянило отчаяние, оттого, что в этом опьянении вы нашли смысл жизни, вы осмелились замахнуться на творения человека, вам мало, что он от века обездолен, — вы решили добить его. А я отказываюсь мириться с отчаянием; я отмечаю прочь этот распятый мир и хочу, чтобы в схватке с судьбой люди держались все вместе... Я и теперь думаю, что в этом мире нет высшего смысла. Но я знаю: кое-что в нем имеет смысл. Это «кое-что» — человек. Ведь он единственное существо, которое требует от мира, чтобы мир наполнился смыслом. И в его правде заключается все оправдание мира.

*Альбер Камю,
Письма к немецкому другу, Письмо 4-е, июль 1944 г.*

1

Со времен Нумы Помпилия обычай предупреждать врага о нападении казался до такой степени естественным и даже необходимым, что никому не приходило в голову, насколько проще и удобнее подкрасться сзади и, не окликав жертву, навалиться на нее и схватить за горло. Эта стратегия могла родиться лишь в стране, испытывавшей очистительную бурю национал-социалистической революции. Однако к тому времени, когда канцлер и вождь германского народа подписал приказ о вторжении

в маленькую страну, о которой здесь пойдет речь, — страна эта была уже, кажется, восьмым или девятым по счету приобретением рейха, и стратегия молчаливого молниеносного удара успела потерять новизну.

Как и в предыдущих кампаниях, вторжение произошло без особых неожиданностей для командования, в точном соответствии с планом. Не имеет смысла подробно описывать весь поход, ограничимся краткой сводкой событий, происшедших на главном направлении удара. Около пяти часов утра на шоссе, ведущем к пограничной заставе, показалась колонна наездников. Они двигались на первой скорости, по четыре в ряд, как бы приросшие к рогам своих мотоциклов, за ними, громяхая, ползли бронетранспортеры, огромные, оставлявшие вмятины на асфальте, за транспортерами ехал лимузин с полководцем, а за лимузином, мягко покачиваясь, катили чины штаба. Все это двигалось из тумана, точно рождаясь из небытия. Застава представляла собой два столба с перекаладиной. В стороне, у обочины, стоял двухэтажный кирпичный домик. Когда первая четверка, в серо-зеленых шлемах, напоминавших перевернутые ночные горшки, подкатила к перекаладине, пограничник, стоявший у рукоятки шлагбаума в каком-то опереточном наряде, казалось, никак не реагировал на их прибытие: в величественной позе, стройный и недвижимый, точно на праздничной открытке, с секирой в руках, он стоял, устремив прямо перед собой светлый, восторженный взгляд. Унтер-офицеру пришлось вылезти из седла и самому крутить колесо. Полосатое бревно со скрипом начало подниматься, но застряло на полдороге — и унтер-офицер, чертыхаясь, дергал взад и вперед ручку ржавого механизма. Промедление грозило нарушить правильный ход кампании, расписанной буквально по минутам.

На крыльцо кирпичного дома вышел начальник заставы, мальчик лет восемнадцати; он сладко зевал и ежился от утренней прохлады. Туман еще стелился над холмами; в синеющих перелесках, на ветках, унизанных росой, просыпались птицы. Барсук выбирался из норы, тараща заспанные глаза. Некоторое время мальчик-начальник хмуро взирал на подъезжавшее войско, очевидно, спрашивая себя, не снится ли ему сон, затем с флегматичностью только что разбуженного человека начал расстегивать кобуру.

Он остался лежать перед порогом своего дома, — фуражка с вензелем валялась на земле, золотистые волосы шевелил ветер. Часового, все еще оцепенело стоявшего у шлагбаума, вразумили пинком в пах; ударом приклада вышибли из рук бутафорское оружие. Тем временем солдат в зеленом горшке, взобравшись на крышу, отдирает от флагштока полотнище государственного флага, за которое ему полагался орден. Затем все потонуло в пыли и грохоте.

То же происходило на других заставах; и менее чем за пятнадцать минут армия повсеместно пересекла границу. Отряды парашютистов — крепких ребят с засученными рукавами, вооруженных ножами и автоматами, — высадились в пунктах, которые командованию благоутодно было обозначить как стратегические. Одновременно шла высадка морских десантов в портах. Торговый флот королевства, насчитывавший шестьдесят пять судов, рассеянный по всему миру, как только начали поступать известия о случившемся, не пожелал вернуться на родину; однако его поджидали в прибрежных водах и у выхода в пролив специальные корабли. Все совершалось быстро, точно, таинственно и неотвратимо. Цель, которую руководитель указал командованию, а командование — войскам, была поражена и достигнута в предельно короткий срок: так было всегда, так произошло и на этот раз. В штабах непрерывно звонили телефоны, лакированные козырьки полководцев склонялись над картами, телеграф выстукивал шифрованные депеши. Армия была слишком громоздким и многосложным механизмом, генералы получили слишком высокое жалованье, а военная наука с которой они сообразовывали каждый свой шаг, была слишком серьезной, слишком важной и возвышенной наукой, чтобы можно было просто так, без зловещей помпы и секретности,

без всеобъемлющего плана и многостраничной, многопудовой документации подмять под себя безоружную и беспомощную страну. Вдобавок завоеватели, в силу некоего атавистического романтизма, испытывали полуосознанную потребность представить суровым подвигом то, что на деле было едва ли опаснее загородной прогулки. С трех сторон, направляясь к столице, двигалась, поднимая пыль, гремящая, тархтящая масса; и навстречу ей в жидком блеске апрельского солнца поднимались из-за пригорков маленькие города с высокими шпилями соборов, на которых звонили колокола. Государство, жившее какой-то призрачной, сказочной жизнью, было в самом деле не больше воробьиного носа — *lacherliches Landchen*, как называл его германский фюрер. Мелкие стычки, кое-где омрачившие это утро, не могли задержать нашествие, как не могут остановить слона выстрелы из детской рогатки. Весь поход длился не более трех часов, и бомбардировщики, гудевшие над страной, не успели истратить запас горючего.

2

Такова была ситуация, с которой столкнулось правительство в этот роковой, но удивительно солнечный день. Утренний пар еще поднимался над ослепительно блестящими крышами; узорные стрелки на двух тускло отсвечивающих циферблатах башни Св. Седрика показывали восемь, когда, как стало известно позже, посол рейха вручил правительству меморандум. В нем кратко говорилось, что империя, озабоченная поддержанием мира на континенте Европы, нашла необходимым защитить северную страну от агрессии западных союзников; если же правительство придерживается на этот счет другого мнения, то пусть пеняет на себя: страна будет стерта с земли в течение десяти минут. Само собою разумеется, что ссылка на агрессию с Запада с равным успехом могла быть заменена иной и даже противоположной формулировкой, так как суть дела заключалась отнюдь не в том, что было написано в этой бумаге; бумага была запоздалой данью обычаям, о которых время от времени и совершенно неожиданно вспоминали властители рейха; тем не менее она была необходима хотя бы потому, что существовал посол, обязанный ее вручить, и как-никак существовало правительство, которому этот меморандум — род повестки — был адресован.

К чести королевского правительства нужно сказать, что оно проявило благоразумие. Оно помнило пример соседа, дорого заплатившего за попытку сопротивляться, о чем, впрочем, предпочитали не говорить вслух. Войскам — их в стране было четыре дивизии, — хоть и с некоторым запозданием, был отдан приказ не оказывать сопротивления; а те небольшие попытки дать отпор, которые все же кое-где предпринимались, не имели, как мы уже говорили, последствий. Правительство официально сняло с себя ответственность за подобные акции.

Не требовалось особой догадливости, чтобы понять то, что на них надвигалось, превосходило обычные человеческие масштабы; надвигалось нечто бессмысленное, с чем бесполезно было пререкаться; но кто знает, не был ли этот новый и высший порядок внутренне справедлив в своем стремлении водвориться везде: ведь слишком часто люди принимают за насилие то, что является законом. Нашествие нависало над всеми подобно туче, правильнее сказать — двигалось мимо всех: его цели были одновременно и ясны, и непостижимы; и о нем нельзя было сказать, что оно несло, как смерч: мотоциклисты, мчащиеся по улицам, были лишь вестниками того, что не летело, не несло, не бесновалось, но спокойно и грозно близилось. Новый порядок нес новую философию жизни, новое зрение и новый слух. Новый порядок разматывался, как ковровая дорожка.

В восемь часов город — мы говорим, разумеется, о столице — все еще как будто спал: улицы были безлюдны, одни только полицейские с поднятыми жезлами вы-

сились на своих тумбах среди пустых сверкающих площадей; их позы напоминали иератическую застылость египетских барельефов или оцепенение кататоника; а мимо них, мимо закрытых магазинов, занавешенных окон, мимо свежевскопаных клумб и памятников королям и мореплавателям, через весь город с рокотом неслись куда-то вереницы мотоциклистов.

Как большая лужа притягивает маленькую каплю, заставляя ее слиться с собой, так и оккупация совершилась почти мгновенно и с естественностью физического закона. Может быть, поэтому в городе не наблюдалось никакой паники. Первое время обыватели отсиживались по домам. Большинство учреждений не работало, а продовольственные лавки открылись с запозданием. Ощущение было такое, словно самое главное успело произойти, пока все спали, и город с удивлением привыкал к своему новому состоянию, подобно тому, как больной, пробудившись после наркоза, с удивлением узнает, что операция уже позади и теперь ему остается лишь привыкать к тому, что у него нет ног. Однако, уважая всякую власть, жители города инстинктивно доверяли и этому порядку. Должно было пройти немало времени, прежде чем в их честные, туго соображающие головы могла проникнуть мысль, что порядок может быть личиной преступления. Разумеется, нравы и философия страны, чьей добычей они стали, были слишком известны. Но это еще не давало повода сходить с ума, выстраиваться в очереди за мылом и спичками или пытаться всеми силами покинуть тонущее отечество.

Не без основания многие говорили себе и окружающим, что такой поворот событий все-таки лучше, чем если бы страна сделалась ареной военных действий. С некоторым романтическим замиранием сердца и, пожалуй, с тайным облегчением, понимая, что уже ничего нельзя поделать, владельцы особняков на Санкт-Андреас маргт наблюдали из-за оконных занавесок, как на площади перед зданием парламента выстроилось тевтонское войско. Генерал, тощий, как червь, в крылатых штанах, обходил стремительным шагом ряды, после чего, должно быть, рапортовал на гортанном наречии Фридриха Великого своему фюреру, тоже похожему на гельминта, но более упитанного, которого представляли себе парящим над городом в огромном аэроплане, — рапортовал фюреру о том, что повсюду в стране царят спокойствие и лояльность. Ведь лояльность, понимаемая как доверие к людям, откуда бы они ни явились, была всегда отличительной чертой этого маленького народа, национальной чертой, не так ли? И, в конце концов, немцы, чтобы о них ни говорили, — цивилизованная нация и не допустят бесчинств в стране, традиционно чуждой какой бы то ни было политике. Словом, много было приведено доводов, высказано всевозможных домыслов, соображений и осторожных надежд за глухо задернутыми шторами окон, под круто спускавшимися черепичными крышами, ярко блестящими в жидком утреннем солнце. Прислушиваясь к неопределенному гулу и рокоту на улицах, люди гадали, что будет с их тихой жизнью; с их городом, где каждый день на рассвете хозяйки мыли тротуары горячей водой, каждая перед своим домом; с их сухим и чудаковатым, похожим на старого пастора, королем. Но гул, слышный вдали, не был гулом крушения, а лишь предвестником нового, может быть, более усовершенствованного порядка, и это их утешало.

3

«Трам-там-там! Тра-ля-ля!» Две девочки в бантах, в незастегнутых пальто скакали, взявшись за руки, в прохладной тени одной из узких улиц, ведущих к Острову, а сверху на черепичные крыши низвергался целый поток света, и зловещая тишина города, по-видимому, нисколько не смущала девочек. Сцепившись руками, они неслись

по асфальту особенным, лихим и независимым аллюром, который был известен у всех детей города под именем «африканского шага» — несомненно знакомого и читателю — и от которого взлетали их косички и колыхались банты, как вдруг со стороны бульвара донесся стрекочущий звук, похожий на треск пулемета. Обе остановились, переглянулись и, прыснув, бросились в ближайший подъезд, испытывая страх и восторг. Там они, поднявшись на цыпочках, стали выглядывать в щель, через которую швейцар обыкновенно смотрит на посетителя.

Звук, а с ним и еще что-то приближались, потом на минуту стихли; вдруг совсем близко раздалась оглушительная очередь, как будто — позволим себе экстравагантное сравнение — бегемот присел за нуждой: из-за угла, правя рогами, выехал серо-зеленый мотоциклист, на нем был горшкообразный шлем, на груди висел бинокль. Несколько мгновений спустя в нараставшем гуле из-за поворота, едва не задев за угол дома, вывалился многоколесный боевой фургон, в котором ровными рядами, как грибы, покачивались шлемы. Еще два таких фургона ехали следом и загромоздили всю улицу. Шум моторов, вероятно, поверг жителей в никогда еще не испытанный ужас. Колонну замыкал бронированный автомобиль с важными дядьками в задранных фуражках; они с необыкновенной серьезностью, блестя моноклями, смотрели вперед. Девочки проводили их восхищенными взглядами, и вся процессия, громыхая, постепенно исчезла в узкой горловине улицы, выходящей на Остров.

Островом издавна именовали часть города, отделенную каналом от остальных кварталов. В будни здесь всегда было пустынно, зато по воскресным дням на набережной и по сторонам широкого плаца толпилась публика, следя за парадными экзерцициями стражи. Направо от площади, если стоять спиной к мосту, возвышается башня, весьма известная историческая реликвия, вот уже триста лет выполняющая функцию национального будильника. Налево открывается вид на дворец. Три бронетранспортера и машина с офицерами вермахта с грозной неторопливостью перевалили за мост и поехали с ужасным шумом наискосок через пустынный плац. В машине (это стало известно позже) находился личный уполномоченный только что назначенного рейхс-комиссара с представлением бывшему королю и инструкциями по наведению порядка во дворце. У ворот обычно маячили фигуры часовых, одетых чрезвычайно живописно, с аркебузами на плечах. В этот час, однако, перед воротами никого не оказалось. Тускло сияли золоченые копыя ограда, подняв лапы, по обе стороны входа застыли крылатые львы. А за оградой, на чисто выметенном газоне, едва успевшем зазеленеть, в боевом порядке выстроилась полусотня всадников: это была великолепная когорта, обломок славного прошлого, гордость нации, золотой сон девушек — конная королевская гвардия, учрежденная по указу основателя династии 446 лет назад. Гвардия стояла под знаменем, в полной неподвижности на фоне дворца, точно позировала для видового фильма.

Прошло еще немного времени (немцы ехали по площади), и на башне начали бить часы. Пробило девять. И тотчас за оградой слабо и мелодично пропел рожок. Шелковый, синий с зеленым штандарт на копьевидном древке в руке передового слегка наклонился вперед, и на нем расправился и заблестел на солнце некий символ — герб, вышитый, по достоверным данным, золотыми нитями из кос девушки, которая вышла из вод Северного моря, дабы сочетаться браком с королем. Не доезжая ворот, солдаты спешили. Вот тогда это и произошло.

Нелепая история, абсурд, достойный сумасбродного феодального захолустья, каким-то чудом сохранившегося на задворках Европы! Примерно в таких выражениях характеризовали случившееся иностранные газеты, в двух строках сообщившие об этом инциденте, который уже тогда был воспринят как малоправдоподобный анекдот. Прежде чем солдаты успели подбежать к решетке дворца, кованые ворота распахнулись и эскадрон с саблями наголо, сверкая касками, вылетел навстречу гостям.

От неожиданности немцы попятились. Машина с уполномоченным дала задний ход. Завоеватели были скандализированы. К восьми часам утра, как уже упоминалось, кампания считалась законченной; по крайней мере, так предусматривал план, и решительно ни у кого не было причин сомневаться в том, что этот план будет неукоснительно выполнен. И если для высшего командования операция сохраняла свое военное значение ввиду общей обстановки и географического положения страны, то личный состав до последнего солдата буквально был лишен способности принимать что-либо в этой стране всерьез. Подразделение, получившее приказ занять Остров, двигалось, вооруженное фотоаппаратами. Офицеры ехали с сигарами в зубах. Есть сведения, что атака рыцарей была поддержана пулеметным огнем из верхних окон дворца. Эти сведения сомнительны. Иначе трудно объяснить, почему не была разрушена до основания резиденция «старой куклы» — выжившего из ума короля.

Совершенно очевидно, что ни глава государства, ни его министры не имели ровно никакого отношения к этой неожиданной вылазке. Монарх дрожал от страха, запершись в своем кабинете. Что касается правительства, то, как уже было сказано, оно старалось подать пример благоразумия. Давая объяснения, бывший министр национальной обороны, мэр города, а также гофмаршал, в ведении которого находилась дворцовая стража, согласно заявили, что ими не было отдано никаких приказов; тем самым они признали, что были не у дел, а значит, и не могли нести ответственности за случившееся. Отвечать надлежало командиру эскадрона, человеку с длинной и труднопроизносимой фамилией, двадцатитрехлетнему отпрыску древнего рода. Но он лежал на мостовой в роскошных голубых рейтузах, запачканных кровью, в расколотой каске, окруженный четырьмя с половиной десятками своих подчиненных и трупами поверженных лошадей. Вся гвардия лежала на площади и уже не могла предстать перед судом. Вокруг бродили солдаты с засученными рукавами, бранясь вполголоса, поднимали за ноги и за руки искалеченные тела и швыряли их в подъезжавшие грузовики. Спустя полчаса по площади проехала водоструйная машина, и все следы короткого боя были уничтожены.

4

Итак — подведем еще раз итоги, — оккупация более или менее благополучно состоялась. Нельзя сказать, чтобы такое развитие событий оказалось неожиданным для Седрика. Примерно с осени 1940 года, когда жертвой необъявленного нападения пал северный сосед, подобный исход начал представляться весьма вероятным. Очевидно было и то, что страна не могла рассчитывать на чью-либо помощь извне. Об этом ясно и жестко, в своей обычной манере, заявил, выступая перед журналистами, первый лорд британского адмиралтейства. Он сказал, что северные страны представляют, по его мнению, наиболее вероятный в ближайшем будущем объект военных операций. Но если Швецию и Норвегию отделяет от хищника, так сказать, ров с водой, если Дания имеет шансы откупиться путем территориальных уступок, то *эта* страна, *this unfortunate country*, находится в столь неблагоприятной ситуации, что помочь ей будет чрезвычайно трудно. «That's why, — добавил Черчилль, — I would in any case not undertake to guarantee it».*

Рейх одержал еще одну из своих бесчисленных побед. Во имя чего? С точки зрения абстрактных надчеловеческих сил, этих зловещих выкормышей гегельянской философии, — с точки зрения Истории, Нации, Политики — все это, возможно, имело какой-то смысл. С точки зрения реального живого человека, все случившееся было бессмыслицей. Омерзительное и тоскливое чувство, в котором он физически отожд-

* Вот почему я ни при каких обстоятельствах не поручился бы за нее.

дествлял себя со страной-ребенком, сбитым с ног кулаком бандита, повергло Седрика не то чтобы в уныние, но в состояние, знакомое душевнобольным, — ощущение нереальности происходящего. словно до сих пор он был зрителем и глядел из удобного кресла на сцену, где разыгрывалась пьеса какого-то сумасшедшего авангардиста, и вдруг актеры спрыгнули с подмостков и, держа в каждой руке по пистолету, начали грабить зрителей. И тогда стало ясно, что абсурдный спектакль, вся соль которого была в его очевидном неправдоподобии, на самом деле вовсе не мистификация, не бред, не вымысел автора, а самая настоящая действительность.

4

День Седрика начинался в восемь часов. Он часто просыпался перед рассветом, потом задремывал, но в урочный час не разрешал себе лежать ни одной лишней минуты: в его жизни, как и в жизни его близких, господствовал дух протестантской строгости и простоты. Душ, массаж, утренний туалет перед высоким тусклым зеркалом в дубовой раме — все совершалось с меланхолической торжественностью, как если бы неукоснительное соблюдение распорядка было целью и смыслом существования. Этот порядок предусматривал даже утреннюю боль в затылке, вызываемую, однако, отложениями солей, а не спазмом сосудов, вопреки мнению доктора Каруса. После завтрака, которому можно было бы посвятить специальное исследование, настолько глубокий — медицинский и христианский — смысл был вложен в его изощренную убогость, Седрика ожидал в кабинете секретарь, следовало выслушивание доклада, визирование бумаг и прочие дела его основной должности. С двенадцати до часу — прогулка в седле. После ленча Седрик уезжал в клинику. Последнее время он подолгу задерживался там. Конгресс в Рейкьявике, объявленный на конец мая, был отложен ввиду международной обстановки; Седрик надеялся использовать эту отсрочку для пополнения своего материала.

Обед — в семейном кругу; за длинным столом на высоких стульях с длинными спинками, под стать самому хозяину, сидели: супруга Седрика, его младший сын Кристиан, жена Кристиана и внуки. (Старший сын, согласно официальной версии, находился на длительном лечении за границей.) Обыкновенно за столом присутствовал доктор Карус. Кристиан, презираемый сын, был профессором немецкой классической философии — отрасли демонстрирующей ныне, по мнению Седрика, позорный крах; ибо нельзя же было отрицать, что от Иоганна Шефлера, «Силезского ангела», тянется нить, на другом конце которой болтается, увы, Альфред Розенберг; не говоря уже о Гегеле, которого Седрик обвинял в легкомысленном потакании «всеобщему» в торжестве человекоядного этатизма; словом, не кто иной, как Кристиан, здесь, в мрачной столовой, над остывающим крупяным супом, обязан был *ex officio* нести ответственность за роковое вырождение германского духа, за грезы Шиллера, обернувшиеся бессмыслицей пролетарской революции; вообще судьба уготовила Кристиану роль отступника — даже в чисто конституциональном смысле; достаточно было взглянуть на него: толстый, благодушный, с крупными женоподобными чертами лица, не чуждый радостям жизни, снисходительно-покладистый, наивно-эгоистичный, «беспринципный». Подруга жизни его была немка из августейшей семьи, тусклая и худосочная особа. Обедали поздно, и зимой в это время в столовой уже горели лампочки в виде свечей. После обеда Седрик писал в библиотеке; вечером чтение с внуками, партия в шахматы с доктором и любимый Гендель. Так проходил его день.

Ровно в двадцать три часа тридцать минут Седрик, седой и тощий, прочитав молитву, взбирался на высокое и неудобное ложе подле ложа Амалии. За сорок с лишним лет брака он, можно сказать, ни разу не видел свою стыдливую и чопорную

супругу всю целиком. В описываемое время Амалия изображала из себя маленькую пожелтевшую старушку почти вдвое ниже ростом Седрика. Оба лежали в одинаковых позах, на спине, изредка обмениваясь короткими фразами; в их общении слова играли роль камертона: как это бывает у долголетних супругов, они давно научились беседовать молча. На высоко взбитых подушках узкая, старчески сухая голова Седрика покоилась точно на одре смерти; глаза, угасавшие под морщинистыми веками, походили на желваки. В рюмке на столике, рядом с ночником, стояли капли датского короля, стояла минеральная вода на случай изжоги. Для Амалии был приготовлен нитроглицерин. Над изголовьем висела сухая ветка багульника, отгоняющая дурные сны. Звон курантов на башне Святого Седрика пробуждал видения безвозвратно ушедших времен. Седрик вздыхал, и тихо вздыхала возле него молчаливая Амалия. Длинные, сложные, ветвистые воспоминания, точно водоросли, поднимались вкрут, и постепенно король Седрик X погружался в сон.

6

В одно утро привычный многолетний уклад жизни был разрушен. Это крушение, ощущаемое ежеминутно, удручало еще больше, чем крушение мирового порядка. Так человек, со стоическим равнодушием взирающий на пламя, которое пляшет над кровлей его дома, не может сдержать слез при виде какой-нибудь обугленной безделушки. Но разве вся страна не была его домом, его семьей? Седрик привык получать к Рождеству или ко дню рождения сентиментальные поздравления от незнакомых людей; когда десять лет назад у него открылась язва желудка, родители говорили детям, что надо вести себя хорошо и не огорчать папу и маму теперь, когда у всех такое горе. Карикатуристы изображали короля, высокого, как Гулливер, и Тощего, как Дон Кихот, стоящим на одной ноге на пяточке своего крошечного королевства, поджав другую ногу, для которой не хватило места. Ему бы еще дедушкины латы и бритвенный тазик на седую голову. Да, монархия — пережиток, подобный рыцарским аксессуарам чудака из Ламанчи; он и не спорил против этого. Но что поделаешь, если в глазах сограждан он был Государством, воплощенным в образе человека, и оттого, что он был живым человеком, который живет здесь, поблизости, которого легко увидеть, государство все еще воспринималось в этой стране — в этом и состоял ее удивительный анахронизм — как нечто близкое всем, как общее дело и общая жизнь. Теперь всему этому пришел конец. Новое государство, поглотившее их, несло в мир порядки концлагеря; принцип человеческого общежития оно заменило принципом всеобщего «беспрекословного» служения некоторой абстракции, лишенной, как легко было понять, какого-либо реального, жизненного содержания. На знамени этого государства были начертаны слова: рабочий класс, нация и социализм; но чем оно было по существу, об этом можно было судить по тому образу, который оно подняло над собой как священную хоругвь; ибо оно тоже было персонифицировано в одном человеке — и в каком человеке! В человеке, который словно нарочно был выбран, дабы проиллюстрировать невиданное доселе падение человечества. Рядом с ним — а судьба, что ни говори, поставила их рядом — Седрик чувствовал себя поистине неизвестно для чего сохраняемой фигурой — бесполезным стариком, которому время убираться на погост.

Это малодушие, которому поддался король в памятное апрельское утро, объясняет его странную бездеятельность перед лицом событий на Острове, о которых мы уже говорили. Да и в дальнейшем, когда понадобилось его участие в решении неотложных государственных дел, король уклонился от каких бы то ни было действий. Можно сказать, что государь уподобился своему народу. Да и что он мог предпринять? С утра он

находился в своем кабинете; только что башенные часы пробили девять, время, когда у ворот дворца пел рожок; длинные ноги Седрика в узких черных брюках были скрещены под столом, длинные и худые пальцы с короткими ногтями, пальцы хирурга, безостановочно барабанили по краю стола; костлявый подбородок зло и отрешенно вознесся кверху, и на тощей шее перекачивался кадык. Король был при полном параде, с лентой и Рыцарской звездой, его фрак украшала цепь. Он не мог заставить себя подойти к окну, глотал кислую волну изжоги и колотил пальцами. Налево от него, в высокой раме окна, стоял секретарь с видом человека, который с минуты на минуту ждет телефонного звонка — а может быть, и трубы Страшного суда; направо — утопала в глубоком кресле тщательно одетая и причесанная Амалия.

На плоской груди ее висело только одно — но очень дорогое — украшение. Несомненно, из трех присутствующих королева нашла для себя наиболее достойное занятие. Она вязала. Не далее как на прошлой неделе ее величество завершила работу над семьдесят четвертым по счету набрюшником для мужа; ныне она трудилась над шерстяным кашне, вещью во всех отношениях необходимой в теперешние тяжкие времена. И ничто на свете не могло заставить ее прервать это занятие. Но оно имело и другой, более возвышенный смысл. Желтовато-седой шиньон Амалии и ее детские ручки, занятые работой, излучали чисто женскую уверенность в торжестве жизни, они внушали надежду, что все как-нибудь обойдется, наконец, они внушали мужество. Пока там, у ворот, мальчик с длинной и трудно выговариваемой фамилией, крестясь, горячил коня перед первым и последним в своей жизни боем, Амалия готовилась встретить недруга на пороге своего дома со спицами в руках.

А тот, чья честь была поставлена на карту, кто против своей воли позвал на смерть это игрушечное войско, — оцепенел, застыл как бы в параличе, устремив в пространство бессмысленно блестящий и загадочный взор. Честь? Но что скрывалось за этим понятием? Подобно некоторым оптическим иллюзиям, оно исчезало, едва только взгляд рассудка пытался фиксировать его. Честь — это могло значить только одно: долг перед самим собой. Так в чем же состоял его долг? Он был стар, а на площади лилась кровь. Он был стар, а они были молоды. И самое лучшее, что он мог сделать, — это встать и выйти пешком на улицу и умолять немцев пощадить его безрассудных детей; выйти безоружным, с седой головой и с именем Христа на устах, как выходили священники в некоторых селах России навстречу карателям. Но он не был способен на это. Он знал, что в эту минуту с ним спорит его собственный предок — тот, который был нарисован на стене в малом зале. Да, он видел себя мысленно на площади: солнце слепило глаза, вдали громыхало тевтонское полчище. Он сидел на коне во главе своей гвардии.

Снаружи донеслось приглушенное расстоянием хлопанье противотанковых ружей. Желтый луч заиграл на шиньоне Амалии, и стальные спицы с судорожной быстротой замелькали в ее руках. Секретарь стоял, как гипсовое изваяние, глаза его медленно расширялись. Ударил пушка. Затем раздались шаги в приемной, вошел свитский полковник, вполголоса доложил, что бой на площади окончен.

Казалось, что-то немедленно должно было произойти, ворваться в двери, загреметь сапогами по лестницам; в ушах уже звучали хриплые команды, звон разбитых стекол... Но все молчало. В завесах света трепетали сверкающие, как искры, пылинки. Время, казалось, повисло в воздухе, как эта пыль. И так мирно, так солнечно было на едва успевших покрыться зеленым пушком лужайках перед фасадом дворца, так светло и счастливо горели вдали золотые копьевидные пруты ограды, что странный покой на минуту снизошел в душу. И настал мир на земле и в человеках благоволение.

Не дождавшись ответа, полковник попятился и неслышно закрыл за собой высокие темные двери. Седрик поднялся. В глазах у него стояли слезы. Стыдясь этой старческой слабости, он опустил сухую серебристую голову, точно провинившийся

ученик. Ситуация выглядела нелепой: о короле забыли. И он почувствовал себя горько обиженным, как только можно быть обиженным в детстве. В этом пустынном и, очевидно, покинутом всеми дворце он и впрямь превратился в никому не нужный музейный экспонат. Его даже не нашли нужным арестовать!

Когда он снова поднял голову, глаза его блеснули сухим, почти мертвенным блеском. Из приемной донесся шорох — Седрик словно ждал его. Он выскользнул из-за стола. Выщипанные бровки королевы взлетели кверху; медленно поползли на лоб холстые соболиные брови секретаря. Седрик распахнул двери. Обстоятельства прояснились. В приемной стояли фигуры с автоматами. Внезапное их появление напоминало фокус в театре, когда вспыхнувший свет открывает действующих лиц, неизвестно как очутившихся на сцене.

Седрик почувствовал необычайное облегчение. На руках у всех были повязки: то был знакомый по киножурналам, по фотографиям в газетах знак тарантула. Некто в сверкающих сапогах, со стеклом в глазу двигался ему навстречу. Однако Седрика постигло разочарование. К вечеру этого дня жители прекратившей свое существование страны узнали, что их король жив и невредим и находится под домашним арестом — впрямь до особого распоряжения оккупационных властей.

7

Здесь позволим себе упомянуть об историческом событии — церемонии, состоявшейся в малом тронном зале дворца. Не потому, чтобы она имела действительное значение в ходе дальнейших происшествий, — весьма скоро для всех стало ясно, что отныне события совершаются не по свободному решению свободно собравшихся людей, а в силу таинственного произвола никому не ведомых высших инстанций, от людей же требуется лишь восторженная готовность исполнять приказания, — но потому, что она, эта церемония, была последним испытанием, последним вопросом, который судьба задала королю и на который он волен был ответить так, как ему заблагорассудится; как уже говорилось выше, он и на сей раз уклонился от ответа. Но ведь и это был своего рода ответ. Седрик, хотел он этого или не хотел, сказал: да. И больше его уже ни о чем не спрашивали.

Название «тронный зал» не должно вводить в заблуждение. Уже много лет сюда навевались только туристы да школьники. Не так давно зал арендовала, загромоздив его осветительной аппаратурой, всемирно известная фирма Скира. Ее сменила какая-то кинокомпания. Быть может, не все читатели знают, что именно здесь находится мозаичное панно — прославленный памятник искусства Северного Возрождения. Панно создано в начале XVI столетия. Оно изображает батальную сцену: король Седрик Святой бок о бок с архангелом Михаилом во главе победоносного воинства.

Эта картина и послужила своего рода живописным задником для процедуры, имевшей произойти в зале. В зал внесли длинный стол, расставили пепельницы и бутылки с минеральной водой, разложили автоматические перья и бумагу — весь этот реквизит, явно бесполезный, как бы подчеркивал ненужность ритуала, единственной целью которого было придать видимость благообразия последним корчам умерщвленного государства. Король вошел, и все встали — жалкое сборище склеротических старцев, незадачливых правителей, страдающих одышкой и избытком сахара в крови. Над их белоснежными воротничками нависали складки розоватого жира. Военный министр слепил взоры парадным мундиром, но нужно ли говорить, насколько неуместно выглядела здесь эта выставка крестов и звезд? Окинув взглядом собрание, король Седрик сел (точно подломился), и тотчас уселся и посол Германии, но, заметив, что все стоят, вскочил почти непроизвольно, — это маленькое происшествие доставило

облегчение присутствующим. Седрик, окаменелый, посвечивал перед собой прозрачным взором, лишенным какого-либо выражения. Наконец он выдавил: «Прошу». Все сели. Теперь посол стоял, монокль сверкал у него в глазнице. «И вы, сударь», — сказал Седрик по-немецки.

Премьер-министр, похожий на мистера Пиквика и, кстати, бывший пациент клиники, где его величество удалил ему года полтора назад опухоль простаты, голосом, каким говорят в классических пьесах благородные отцы обеспеченных дочерей, прочел заявление кабинета. В изысканных выражениях правительство протестовало против насилия. Оно напоминало об институциях международного права, традициях, восходящих ко временам Рима; сослалось на пакт о ненападении, заключенный между его страной и Веймарской республикой. (Посол пожал плечами.) Все это служило, однако, лишь поэтическим предисловием. Премьер остановился, чтобы подкрепиться минеральной водой. Он продолжал. Под гнетом обстоятельств, уступая силе, королевское правительство сочло себя вынужденным принять оккупацию как факт. Оно обещает выполнять волю победителя. Границы будут закрыты; всякие сношения с западным миром будут прерваны. Будет учрежден контроль над радио и печатью. И так далее.

Внимая этой обиженной речи, посланец рейха на другом конце стола блистал, точно прожектором, стеклянным окном. Упоминание о гарантиях порядка и справедливости, на которые притязал оратор, слишком мягко произнося немецкие слова, приподнимая левой рукой старомодные очки и чуть ли не вода носом по тексту, вновь заставило посла пожать жирными плечами. Со стены, воздев крестообразный меч, на посла взирал зеленоглазый король-рыцарь; другой король возвышался на председательском кресле, и его коротко остриженная серебрянная голова приходилась вровень со шпорами всадника. Прямой, как бамбук, со зло задраным подбородком, с тусклым бешенством в хрустальных старческих очках, Седрик стоически терпел благообразную ахинею, которая лилась из округлых уст премьер-министра. Чувствовал, как кислая волна медленно поднимается к горлу со дна желудка. В кругах, близких ко двору, да и не только в этих кругах, хорошо было известно, что его величество страдает повышенной кислотностью, по крайней мере, сорок лет.

Было ясно, что ход событий, как и движение светил, ни от кого не зависит. Начинает ли это, что мы беспомощны перед лицом этого извечного ультиматума? Безвыходность избавляет от ответственности — перед кем? Перед другими. Но не перед самим собой. Именно так оценил ситуацию кузен, северный сосед.

Положим, прав Спиноза, говоря, что упорство, с каким человек отстаивает свое существование, ограничено, и сила внешних обстоятельств бесконечно превосходит его; положим, не в нашей власти одолеть бурю. Но от нас будет зависеть, какой флаг взвьется над гибнущим кораблем. В цветах этого флага — вся наша свобода! Скандинавские государства, как известно, сохранили традиционную форму правления. Что же сделал кузен? В ситуации, как две капли воды похожей на эту, он заявил, что отречется, если нация примет условия захватчика. Поразительная вера в себя, граничащая с безумием уверенность в том, что твой голос будет услышан в этом лязге и грохоте механизированного нашествия, фанатическая верность идее, представителем, нет, заложником которой ты ощущаешь себя на земле! Король — есть символ свободы. Но нация не состоит из королей. Чем обернулось все это для его народа, для незащищенных женщин, стариков и детей? Страна была раздавлена.

Посол рейха взял слово, и собрание с дипломатической грацией обратило к нему розоватые лысины с седыми венчиками волос, точно ничего не случилось в мире, точно время не сорвалось с оси в замке Эльсинор, и красные флаги с тарантулом не плескались над зданиями, и кровь убитых не смывала с брусчатки водоструйная машина; посол стоял, мерцая моноклем, с листочком текста, точно певец с нотами; все

почтительно слушали. Да, они сознавали историческую важность этой минуты и долго своим считали хранить спокойствие и благообразие, они называли это выдержкой, а на самом деле старались задобрить хищника своей покорностью, угодливо заглядывали ему в глаза, участливо внимали его нечленораздельному рыку, делая вид, что слушают человеческую речь! Приступ изжоги вновь с небывалой силой наступил короля. Желудок и пищевод, казалось, тлели, сжигаемые подспудным огнем. Как человек воспитанный, он знаками успокоил певца — мол, продолжайте, я сейчас — и на цыпочках пробалансировал мимо копыт христианнейшей рати; посол метнул в него грозный луч, затем вновь возвысил голос; король молча вышел из зала.

8

Мы не смеем предложить читателю собственное решение того, что позднее было названо загадкой рейха; однако не чувствуем себя в силах удержаться от искушения мимоходом бросить взгляд на феномен, в котором по крайней мере одна черта пленяет и поражает воображение. Мы имеем в виду ту особенность национал-социалистического государства, благодаря которой атмосфера жизни в нем неожиданно и своеобразно воспроизводила мир душевнобольного, с его чувством исчезновения реальности и незримого присутствия таинственных сил, управляющих его помыслами и всем его поведением.

Рейх и поныне таит в себе нечто завораживающее; сошедший со сцены, он и теперь чарует душу, зовет, как мираж, и притягивает, как взгляд василиска. Рейх казался грандиозной мистификацией. Все его граждане, от привилегированных до обездоленных, от высших партийных чиновников до уличных чистильщиков сапог, состояли как бы в общем заговоре относительно того, что надо и чего не надо говорить, и все вместе производили впечатление людей, однажды и навсегда условившихся говорить друг другу неправду, только неправду, ничего, кроме неправды. Но в том-то и дело, что, убежденные в необходимости скрывать истину, убедившие себя, что не следует даже пытаться вникнуть в суть вещей, как не следует поднимать крышку дорогих часов и заглядывать в механизм, они и не знали истины.

Таинственность была характерной чертой этого порядка; подобно тому, как большинство людей имеет весьма смутное представление о принципе действия телефона или электрического утюга, подобно тому, как деятельность их собственного тела остается для большинства людей непроницаемой тайной, так огромное большинство подданных рейха не имело ни малейшего представления о том, что происходит в их стране. В этом государстве все было засекречено, все было окутано ревнивой тайной, начиная от внешней политики и кончая стихийными бедствиями и статистикой разводов; никто ничего не знал и не имел права знать, все подлежало тщательной утайке от ушей и глаз всякого, ибо каждый состоял под подозрением, и люди жили в уверенности, что государство внутри и снаружи окружено сонмом врагов. Предполагалось, что эти враги жадно ловят каждое неосторожно оброненное слово, чтобы обратить его во вред стране. И враги, число которых, несмотря на истребительные меры, не уменьшалось, составляли предмет главных забот партийных и государственных инстанций; существовал подлинный культ врагов; уже недостаточно было содержать для борьбы с подрывной агентурой одну тайную полицию: на обширной территории рейха трудилось пять независимых друг от друга полиций и столько же контрразведок; они напоминали быстро размножающиеся предприятия в перспективной отрасли промышленности. Враги и враждебные элементы составляли подлинный смысл существования огромной массы государственных учреждений, и, таким образом, противодействие рейху, мнимое или действительное, в известном смысле было условием его существования.

Мистическая природа рейха сказывалась в том, что он управлялся законами, исходящими неизвестно откуда. Нет, не теми законами, которые торжественно объявлялись народу, записывались в золотые книги и высекались на мраморе, за которые полагалось денно и ночно благодарить правительство и партию; эти законы, может быть, и действовали в стране, но на жизни ее они не отражались. Для бесчисленных исполнительных органов основой и руководством служило другое. Таинственность частных толкований, именуемых установками, большей частью засекреченных, непреложных, как слово Божье, хотя нередко противоречащих друг другу, заключалась в том, что сколько бы вы ни поднимались по лестнице управляющих инстанций, вы нигде не находили составителей этих законов, не находили инициаторов и творцов режима, партийные товарищи, как бы высоко они ни сидели, всегда лишь исполняли какой-то еще выше составленный завет, и, значит, все они несли равную ответственность за происходящее или, что то же самое, никто ни за что не отвечал.

Высшая же таинственность рейха состояла в том, что весь он, от вершин до подножия, был пропитан мифом. Точнее, он сам представлял собой воплощенный в действительность, замкнутый в себе и всеобъемлющий миф. Этот миф был поистине универсален, ибо он обнимал все стороны жизни. Он содержал в себе последний и окончательный ответ на все вопросы. Огромное государство, возникшее, как феникс, в центре Европы на исходе первой трети двадцатого века, представляло собой мифическую нацию с мифологией вместо истории, с мифологической нравственностью и мифическим идеалом впереди; во всех своих отправлениях оно неизменно обнаруживало свою внереальную сущность. Народ, однако ж, принял ее за истину. Это произошло потому, что подлинная истина представлялась ему жуткой и бесприютной; стихия таинственности, напротив, манила и согревала. Точно повредившийся в уме, он не признавал своего помешательства. Разумеется, миф рейха, как и любого подобного ему государства, если судить о нем по трудам его теоретиков, по творениям его поэтов, по житиям святых, по школьным прописям, по словоизвержениям вождей, по любым экскретам национального самосознания, — носил вполне бредовый характер. Это придавало ему ни с чем не сравнимое очарование. И развивался этот миф по хорошо известным законам бредаобразования, и было бы поучительно проследить, как, миновав продуктивную стадию систематизации, он приблизился к той ступени, на которой бред душевнобольного бледнеет и рассыпается, — к стадии распада психики. Но рейх не дождался гибели своего мифа, режим не успел надоесть самому себе — и, может быть, поэтому остался навеки юным. Забили барабаны, птица феникс захлопала крыльями — рейх, ощутивший неодолимую потребность расширяться, начал войну. С новой силой ударила в бубны неслыханная по размаху и наглости пропаганда, и миф, как бы омытый грозой, ожил и заиграл всеми красками на солнце.

9

Бамм! Бамм! Бамм!..

Двенадцать раз прогудел башенный колокол, потом что-то перевернулось в громадных часах, и куранты несколько монотонно и гнусаво начали вызванивать гимн. Боже, убереги нашего короля, и нас, и наши нивы!

И наши квартиры. И наши клумбы с фонтанчиками. И наши счета в банке. И туманы над нашим морем. И наших лысых министров. И...

Тогда раздвинулись кованые ворота со львами на столбах (один лев так и сидел без лапы). Часовой отдал честь кавалеристу на белой лошади древних кровей, чья родословная восходила ко времени славного Росинанта. Ее копыта, похожие на точеные основания шахматных фигур, четко зацокали по мостовой. Король Божьей милостью, в узких штанах, обшитых серебряным шнуром, в лазоревом мундире навсегда ушед-

шего в вечность лейб-эскадрона, почетным шефом которого он все еще числился, выехал на прогулку.

Сограждане с удовлетворением отметили восстановление стародавнего обычая. Слава Богу, король на лошади! Силуэт, знакомый с детства, оттиснутый на почтовых марках, выдвленный на шоколадных тортах, привычный образ, почти домашний, как этикетка на старой шляпе, воскрес и одним этим звонким цоканьем отогнал зловещее видение оккупации, видение серо-зеленых горшков, серых мышинных мундиров и морковных знамен. Король на лошади — значит, все в порядке. Это они усвоили с детства.

Седрик пустил коня по улице, той самой, где полгода назад две подружки прятались в подъезде. Моросил дождик. Он выехал, поскрипывая седлом, на бульвар. Прохожие ухмылялись. На углу стук копыт примолк; потомок Росинанта, плеча пышным хвостом, пританцовывал задними ногами. Можно было не глядя сказать, что там происходило: король перегнулся через седло, чтобы пожать руку старому хранителю университетской библиотеки, как всегда, поджидавшему на углу. The King's Hour*, картинка, напечатанная в школьных хрестоматиях! Конь рысью пошел вдоль блестящих трамвайных рельсов, а у библиотекаря произошел разговор с зеленым горшком, случайно очутившимся рядом. Немец с недоумением смотрел на удалявшегося всадника.

«Почему у него нет охраны?» — спросил немец.

Рефлекс, воспрещающий откликаться на звук тевтонской речи, как если бы никто в этой стране никогда не слышал ни одного немецкого слова, не сработал; старик влажными глазами провожал уменьшающийся конский круп. Когда лошадь исчезла за кленами бульвара, старик сказал:

«Видите ли, сударь...»

Он остановился, достал из кармана потрепанного пальто платок, такой большой, что он мог бы служить национальным флагом, осушил розовые мешочки под глазами, потом гулко высморкался и закончил свою мысль так:

«Видите ли, — а зачем его охранять?»

«Как зачем?» — сказал солдат.

«В этом нет надобности», — сказал старик.

«Почему?»

«Потому что, видите ли, мы все его охраняем. Если он упадет, мы подбежим и поднимем его. Но, слава Богу, — сказал старик, — он старше меня на десять лет, а ни разу не падал».

«Да не об этом речь, — сказал немец с некоторым раздражением. Ему уже приходилось сталкиваться с этим странным слабоумием местных жителей. — Почему он без охраны, без телохранителей? Или как там это у вас называется».

Виноват, — возразил библиотекарь, — от кого же его охранять?»

От врагов!»

Это легло бы слишком тяжелым бременем на бюджет, — заметил библиотекарь. Несколько осмелев, он взглянул выцветшими глазами на собеседника. — А ваш... руководитель, — спросил он, — бывает на улицах?»

«Фюрер не ездит верхом. Лошадь — устарелый способ передвижения».

«Но красивый», — сказал библиотекарь.

«К тому же, — продолжал солдат, — фюреру некогда».

«О да, — с готовностью подтвердил библиотекарь. — На автомобиле он мог бы доехать быстрее. Но, видите ли, важно знать, куда едешь».

Человек в зеленом шлеме в ответ на эти слова усмехнулся и сказал, что вождь немецкого народа и всего передового человечества знает, куда он едет. А вот куда едет король?

* Час короля.

«Никуда, — ответил библиотекарь. Разговор принимал опасный характер. — Это традиция его семьи, — пояснил библиотекарь. — И отец его, и дед тоже, знаете ли, так катались».

Дождь накрапывал все сильнее, и на бульваре почти не осталось прохожих.

«В ваших словах, — произнес немец, — я усматриваю проявление неуважения к фюреру. Кто вы такой?»

«Что вы, — испугался старик, — что вы, mein Herr! Я питаю к фюреру самые лучшие чувства. Он великий человек. Мы все его обожаем».

Солдат перебил его: «Я полагаю, это происходит не от злого умысла, но от недостатка политической зрелости. Советую подумать над этим».

«Слушаюсь, mein Herr», — сказал старик и на всякий случай вдернул с головы шляпу. Дождь не утихал. Старый хранитель взглянул на часы и увидел, что стрелки приблизились к часу — время, когда все королевство садится за ленч. Он снова приподнял шляпу.

«Всего хорошего, — презрительно отозвался немец, у которого шлем блестел и плечи с серо-голубыми полосками погон начинали темнеть от воды. — Впрочем, еще минутку, — сказал он. — Вы не могли бы показать мне ваш Passierschein?»

«Что?» — осторожно осведомился библиотекарь.

«Я говорю, пропуск. Пропуск на право передвижения по главной улице. Долг службы, — объяснил человек в шинели. — Впрочем, чистая формальность».

«Но... у меня нет пропуска, — пролепетал библиотекарь. — Я даже не слышал об этом».

«О! — сказал немец. — Я удивлен. (Он действительно был удивлен.) Я удивлен и огорчен. Улица, по которой проезжает глава государства, есть правительственная магистраль. Я вынужден вас задержать».

«Но, сударь! — воскликнул в отчаянии библиотекарь. — У меня камни».

«Какие камни?»

«У меня камни в почках. Сам король меня лечил... У меня жена. Господин офицер! Она сойдет с ума, если я не приду домой».

Солдат наклонил горшок в знак сочувствия. Потом вскинул подбородок. Они направились в ортскомендатуру, библиотекарь жался к стенам домов, хотя погода уже не имела для него никакого значения, а солдат шагал твердо, цокая подковками сапог, через пенистые потоки, струившиеся из водосточных труб.

10

Богиня счастья отвратила свой лик от Седрика. Итог решающей схватки был плачевен. Под радостный рев валторн из «Иуды Маккавея» заколыхались черные стяги; пришли в движение остатки все еще грозной неприятельской армии. Рослый ферзь, словно египетский фараон, мчащийся в колеснице, обогнал наступающие войска и с разбегу врезался в боевые порядки окруженной, отчаянно отбивающейся пехоты белых.

Один за другим пали телохранители короля. Тела их были унесены с поля боя, и вот настал момент, когда ничего другого не оставалось, как самому взяться за меч.

«Итак...» — проговорил доктор Карус, намекая на последнюю возможность спасти честь заключением перемирия.

Король уклонился от ответа. Отскочил в сторону. Тщетная попытка выиграть время. Издалека, с другого края дымящейся равнины, белый конь рванулся на помощь, поскакал кривым скоком на верную гибель. Унесли и его. С высоты своего длинного тела Седрик глазами удрученного Бога взирал на свой образ и подобие, на короля,

еще ворочавшего мечом в углу доски; вокруг сопел тесный ряд смуглых ландскнехтов... Не слишком-то отважны были они в этом неравном бою, но один уже крался к заветной черте. «Осанна!» — воззвал ликующий хор, в ответ грянул великолепный оркестр лейпцигского Гевандхауза. Лазутчик превратился в маршала. А Седрик все еще белел в гуще битвы запачканным кровью плащом.

С мечом, вознесенным, как крест, рукоятью кверху, он стоял, прикрывая собой последние квадратики своей земли.

«Итак!» — вскричал доктор Карус.

И с последними тактами оратории Генделя король, последний солдат своего войска, закололся.

Игроки молча склонили над ним головы. Кристиан, наблюдавший за ходом событий из уютного кресла, почтил погибшего дымовым залпом.

(И еще много лет спустя этот вечер в октябре, почему-то выхваченный памятью из длинного ряда подобных ему вечеров, с люстрой, сиявшей лампочками в виде свечей, с молчаливой, точно заколдованной королевой, с черными шторами на окнах, много лет спустя этот вечер вспоминался Кристиану, которого конец войны застал в концентрационном лагере на острове Лангеланн, далеким и неправдоподобным видением счастья; как живой вставал перед ним отец, седой, очень высокий, с глубокими вертикальными морщинами на щеках, отец, который не любил его и посмеивался над его профессией, — чудаковатый монарх, занятый своей медициной, он стоял над шахматной доской, вперившись в пустые клетки, как будто заново проигрывал в уме партию, потом, все еще глядя на доску, похвалил отличную запись.)

«Кстати, — сказал Седрик, — он ведь, кажется, разрушен?»

Он имел в виду концертный зал Гевандхауза, где в молодости приходилось ему бывать в обществе дяди, кронпринца Гуго. (Ни Гуго, ни тети Оттилии, разумеется, уже не было на свете, немецкие кузины доживали свой век кто где.)

Коллега Карус в ответ на эти слова заметил, что налеты английской авиации стали совершаться с периодичностью, которую нельзя назвать иначе как фатальной.

На что толстяк Кристиан возразил, что фатум, собственно говоря, есть не что иное, как метафизический парафраз высшей справедливости.

Идея рока безрассудна, но при ближайшем рассмотрении оказывается детищем оптимистического рационализма.

«Я что-то не понял, — отозвался король, расставляя фигуры. — Не будет ли профессор столь любезен дать научное определение этому понятию?»

«Какому?» — спросил Кристиан.

«Высшей справедливости, *bien sur*».*

Кристиан пристроил сигару в уголке шахматного столика, извлек из кармана домашней куртки *сagnet*** и перелистал странички, исписанные бисерным почерком. Такой почерк всегда бывает у людей с хорошим пищеварением и ясным, незамутненным взглядом на мир. (Спустя десять месяцев эта книжка была отобрана у Кристиана при обыске в санпропускнике в числе других предметов, при этом ему велели снять одежду, нагнуться и раздвинуть ягодицы.)

Итак, Кристиан отложил сигару и обвел сияющим взором отца, мать и доктора. «Вот», — сказал Кристиан.

Он прочел:

«Справедливость и несправедливость зависят не токмо от природы людей, но от природы Божьей. Исходить же из Божественной природы значит основываться отнюдь не на произвольных посылках. Ибо! (Кристиан поднял палец.) Ибо природа Бога всегда покоится на разуме».

* Конечно.

** Записная книжка.

Королева считала петли. Доктор Карус оком полководца озирает шахматную доску.

Король промолвил:

«Неплохо сказано. Кто это?»

«Лейбниц», — сказал Кристиан и, закинув ногу на ногу, величественно выпустил дым.

«Что ж, — заметил Седрик, — ему это простительно».

Доктор сделал первый ход: теперь белыми играл он.

«Так», — сказал Седрик. Вдали слабо запел рожок. На мгновение король закрыл глаза. Простер руку над строем войск — медленным провиденциальным жестом. И под звуки рожка черные, издав боевой клич, ринулся на врага.

11

В ноябре по случаю Дня Независимости король выступил с традиционной речью по радио. Нужно признать, что она была не самым удачным из его выступлений. Это почувствовали все граждане, но кто на его месте поступил бы иначе? Радиовещание контролировалось оккупационными властями, точнее, полностью находилось в их руках, в комнате, соседней со студией, сидел техник, готовый при необходимости прервать передачу по техническим причинам, а рядом с Седриком за пультом находился некто в штатском, который помогал королю переворачивать страницы.

Речь была посвящена инциденту на железнодорожном вокзале. Упомянув о нем, мы отнюдь не хотим сказать, что этот инцидент каким-либо образом повлиял на международную обстановку. Ничто из происходившего в маленькой стране — читатель должен был понять это с самого начала — решительно не могло оказать влияния на ход мировых событий. Это в равной мере относилось и к мелким недоразумениям, время от времени омрачавшим мирное соитие завоевателя с покоренной страной, и к тому беспрецедентному нарушению порядка, о котором нам еще предстоит рассказать позднее. Итак, случай, происшедший на вокзале, был едва упомянут газетами, да и в речи короля о нем говорилось достаточно глухо. Дело в том, что здесь была допущена ошибка. Не было ровно никакой необходимости в публичной акции, не надо было устраивать никаких митингов, а надо было просто сообщить о митинге, сочинив репортаж и подобающие речи; вместо этого пошли на поводу у дурацких обычаев страны, где привыкли все видеть своими глазами, страны, где премьер-министр ездил на заседания кабинета в трамвае, где король катался по улицам на лошади, где не имели никакого представления о государственном престиже. И вот результат! В честь стрелков добровольческой роты, не без значительных усилий сформированной для отправки на фронт в Россию, на вокзальной площади были устроены торжественные проводы. На митинге собирался выступить военный министр. В новых шинелях и плоских блинообразных беретах с двухцветной, синей с зеленым, национальной кокардой солдаты выстроились на мостовой, напротив входа в зал для продажи билетов; несколько в стороне на тротуаре стоял народ. Ни с того ни с сего в этой толпе произошло движение: как передавали, там неожиданно начались родовые схватки у какой-то добровольческой жены. По другим данным, там задавили собаку. Так или иначе, но министр не успел раскрыть рта, а немецкий капитан, стоявший рядом, не успел дать знак полиции, как толпа слушателей шарахнулась, кордон полицейских, впрочем довольно малочисленный, был оттеснен, и в течение последующих десяти минут неизвестные, в количестве примерно тридцати человек, храня молчание и даже относительный порядок, избили добровольцев, испачкали обмундирование и сорвали с них национальные блины, после чего так же молча и таинственно рассеялись. Не

останавливаясь на этих подробностях, выяснением которых вот уже целую неделю были заняты компетентные инстанции, король нашел лишь необходимым обратиться с увещеванием к народу, прежде всего к молодежи, призывая ее воздерживаться от действий, могущих осложнить отношения с оккупационным режимом.

Еще была неприятность с уличным хулиганом, неким Хенриком Седриксоном, восьми с половиной лет. В четверг 9 ноября этот мальчик подошел к воротам ортскомендатуры и плюнул в часового, причем попал ему в пряжку. Это произошло днем на глазах у прохожих и возвращавшихся с уроков детей, и инцидент получил огласку. Король призвал родителей и педагогов уделять больше внимания искоренению дурных манер у подрастающего поколения. Похороны мальчика были приняты на государственный счет. В заключение своей речи его величество обратился к Богу, прося его о спасении страны и народа.

Вообще следует сказать, что поддержание дисциплины в столице и за ее пределами натолкнулось на одну непредвиденную трудность: в стране не удавалось наладить обычную для всего рейха систему сыска. Трудность, собственно, состояла в том, что не удавалось привить населению этой страны мысль о естественности и необходимости доносов. Люди не понимали — или притворялись, что не понимают, — чего от них требуют. И все же, в общем и целом, оккупационный режим (это тоже надо отметить) оказался мягче, чем можно было ожидать. Победитель щадил маленькую страну, словно в самом деле питал уважение к ее очевидной беспомощности. Возможно, сыграло роль и то, что этническая принадлежность этого народа к германскому племени давала ему право, с известными оговорками, считаться арийским. Разумеется, и в этой стране повсеместно был установлен комендантский час, действовали карточная система, трудовая повинность, паспортизация, прописка, «кружка победы», ежегодная подписка на заем, запрещение самовольного ухода с промышленных предприятий, запрещение свободного передвижения по стране, безусловное запрещение выезда за ее пределы, хотя бы и к родственникам, хотя бы и к детям, хотя бы и мужу к жене, жене к мужу; были упразднены все намеки на политическую деятельность, была установлена цензура на все, что выходит из-под печатного станка: от телефонных книг до объявлений в брачной газете, от романов до трамвайных билетов и талонов на керосин. Разумеется, ни одно публичное выступление, включая проповеди в церквях, не обходилось без выражений горячей благодарности вождю, этому отцу народов и лучшему из людей. Разумеется, английская блокада, распространенная на все территории, подвластные рейху, не сделала исключения для маленькой страны, и, например, по улицам столицы двигались автобусы, запряженные лошадьми, ввиду отсутствия бензина. Но достаточно было сравнить положение в стране хотя бы с участием северного соседа, чтобы понять, насколько судьба была милостива к этому патриархальному краю. Жизнь продолжалась с ее обычными заботами, радостями и печалью, и погода стояла обычная для этих мест: как тысячу лет назад, туман висел над морем викингов; в предутренней мгле, точно призраки, маячили на перекрестках продрогшие полисмены в серебристых от измороси плащах, обыватели присыпались на рассвете в своих спальнях за черными шторами, под веточкой багульника, женщины зачинали в сонных утренних объятиях, это была весьма сносная жизнь, без ночных облав, без заложников, даже без отправления людей в Германию, уходили только бесконечные эшелоны с продовольствием: рейх нуждался в колбасе, маргарине, мороженой рыбе, картофеле, беконе, — все же остальное — колокольни соборов, памятники морским разбойникам, ключья тумана, герб, сплетенный из волос русалки, даже опереточный страж у ворот дворца — представлялось несъедобным и до поры до времени не привлекало внимания вечно голодного победителя. Утверждали, что в стране нет ни одного концлагеря. Дети брели в школу, волоча старые отцовские портфели с тетрадками из серой и очень тонкой бумаги. Хозяйки стояли в очередях и не роптали.

В канун Рождества, когда по улицам от дома к дому ходили пожилые серьезные господа в котелках, несли на палках деву Марию, волхвов и мулов, фюрер в речи, переданной из Нюрнберга, вновь осчастливил крошечную нацию: она была названа «образцовым протекторатом». По этому поводу газеты разразились ликующими передовицами. За этим последовал новый, столь же многозначительный жест — поздравительная телеграмма по случаю семидесятилетия короля. В этот день разрешено было развесить на улицах штандарты с буквой С и римской цифрой Х, а рядом, само собой, развевались морковно-красные флаги победителей.

Начался зимний семестр в университете. После десятимесячного перерыва Седрик возобновил в нем свой курс. Он продолжал работу по обобщению материалов о результатах лечения рака предстательной железы, но конгресс в Исландии был снова отложен.

12

В промозглую весеннюю ночь, густым туманом окутавшую Остров, королю приснился сон. Ему приснилось, что огонек ночника потух и, открыв глаза, он пытается сообразить, где он, пока наконец глаза не привыкают к мраку, и он видит перед собой два высоких, выступающих в темноте окна спальни.

Сон был явно дурной, непонятный и ничем, по-видимому, не спровоцированный, и опять-таки мы упоминаем о нем вовсе не потому, что хотели бы приписать ему какое-нибудь символическое значение; пожалуй, в нем сказалась невысказанная тревога тех дней, глухое нечто, вползавшее через щели и дымоходы с лохмотьями тумана, — и только.

Открыв глаза, Седрик увидел, что черные шторы затемнения закатаны чьей-то рукой кверху и во тьме перед ним выставились два окна — совершенно пустые. Но что-то мешало ему разглядеть предметы в комнате и даже мебель. Что-то зыбкое окружало кровать, скрыло пол, и в этой массе тонули внизу окна. Вглядевшись, он понял, что вся комната заросла водорослями.

Недовольный и даже огорченный, он встал и нашарил ночные туфли — они оказались полны ила — и в туманной зеленоватой воде стал пробираться к выходу, стараясь не поднимать шума. Ему удалось выбраться в залу, никого не разбудив, а потом и на галерею, и он начал спускаться по лестнице, крепко держась за перила, чтобы не поскользнуться. Это была историческая лестница, известная тем, что на ней, на ее ступеньках, умер его дедушка Седрик IX — вышел утром из спальни и вдруг сел и умер. Внизу Седрика ожидал сюрприз. Когда он шел по бельэтажу, волоча мокрые туфли, и по привычке оборачивался на зеркала, приглаживая на голове ежик, то вдруг оказалось, что в зеркалах никого нет: кто-то двигался, кто-то шелестел в полутьме туфлями по эту сторону зеркал, но ничего не отразилось в их тусклой бесконечности, они остались пусты, и по тому, как он спокойно отнесся к этому, Седрик понял, что и он умер, умер в самом деле, или, как принято выражаться о королях, почил в Бозе. Что было, в общем, неудивительно в его возрасте.

Очевидно, об этом еще никто не знал. Седрик пожалел Амалию и пожалел государственный бюджет, на который в эти трудные времена свалилось неожиданное бремя — катафалк, лошади и прочее. Но формальности уже не имели для него значения, вот только медицинского заключения он не мог избежать, уважая хотя бы профессиональную этику. Проще говоря, предстояло вскрытие, и скрепя сердце он поплелся в тех же домашних шлепанцах и в халате со следами морской травы в морг, досадуя на себя за то, что не успел привести себя в порядок перед неприятной, но необходимой процедурой.

Он лежал на мраморном столе в зале со стенами из кафеля. Ровный свет струился из невидимых источников, лежать на мраморе было очень холодно, и он попытался натянуть сползшее одеяло, но тут же вспомнил, что никакого одеяла нет и быть не может, потому что он мертв и лежит в прозекторской университетских клиник, в хорошо знакомом ему секционном зале, и какое счастье, что вокруг него не было студентов; уже слышны были шаги служителя, шорох его клеенчатого передника и звяканье эмалированных лотков. Затем чьи-то руки подхватили его под мышки, рывком подтянули к себе — под головой у Седрика оказалось деревянное изголовье. В это время дверь открылась, и вошел г-н Люне, прозектор.

Прозектор встал на пороге, в пустой раме, и лишь теперь стало ясно, кто он такой: в белой одежде, с парусами накрахмаленных крыльев за спиной, он держал перед собой двумя руками, как крест, длинный блестящий меч. Ангел смерти шагнул к столу и одним взмахом рассек тело Седрика, расщепил его от подбородка до лобка. Производя исследование, г-н Люне шевелил губами. Слов не было слышно, по-видимому, он диктовал протокол. Слава Богу, они не стали распиливать череп; прозектор полагал, что ничего существенного там не найдет. Он диктовал, а Седрик сторал от любопытства, тщился прочесть его слова по движениям губ, следя за прозектором из-под полуопущенных век, но ничего не понял. Вскрытие кончилось, и, понимая, что через минуту его унесут и он никогда уже не сможет изложить свои доводы, Седрик напряг все силы, пытаясь встать: он хотел оправдаться перед прозектором, объяснить ему, на каком основании был поставлен ошибочный диагноз; объясниться было необыкновенно важно; прозектор уже направился к дверям. С невероятным усилием Седрик пошевелил губами, но язык оцепенел, воздух застрял в груди, руки не слушались его, прозектор уходил, Седрик тянулся к нему... Беззвучный, безголосый хрип выдавился из глубин его существа, как это бывает во сне, и, поняв, что это сон, услышав свой хрип, он проснулся.

Он проснулся в липком поту, ночник горел перед ним; он выпил воды и упал на подушки, измученный пережитым и обессиленный до изнеможения, но заснуть снова ему не дали: впереди была дорога; задувал ветерок, было зябко, как перед дождем, надо было поторапливаться. Все небо обложила глубокая, дымно-лиловая туча. Лишь на горизонте не то светился закат, не то тлели пожары. С мешком за спиной, уныло стуча палкой, он шел по дороге, и ветер доносил запах обугленного дерева: где-то горели леса; мало-помалу Седрика стали обгонять другие путники; дорога сделалась шире, вдали показался забор, в заборе ворота.

Огромная толпа с мешками, с корзинами, с перевязанными бечевкой чемоданами осаждала ворота, и было видно, как охранники били людей прикладами автоматов, стараясь восстановить порядок. С вышки на это столпотворение равнодушно взирал часовой, топал затекшими ногами по дощатому помосту и пел песню, вернее, разевал рот, а слов не было слышно. То и дело лязгал засов, чтобы пропустить одного человека. Ясно было, что ждать придется долго. У ворот маячила высокая светлая фигура Св. Петра.

Вместе с толпой Седрик медленно продвигался вперед. Сзади толкали. Стражник у входа листал захватанный список. Все это тянулось невероятно долго. Наконец подошла его очередь. Апостол не торопил его, с презрительным терпением наблюдал, как Седрик развязывал мешок. В мешке были свалены органы — ужасное липкое месиво. Дождь накрапывал, толпа нажимала сзади, загораживая свет; дрожащими руками он стал вытаскивать почки, сердце, желудок, вынул и показал большую скользкую печень. Все было сильно попорчено господином Люне.

Петр мельком взглянул на органы, поморщился и махнул рукой; Седрик принялся торопливо запихивать все обратно. У него было тяжелое чувство, что он не сумел угодить. Такое чувство испытывает человек, у которого не в порядке документы.

Но что именно не в порядке, он не знал. Предстояли еще какие-то формальности. Толпа сзади бурно выражала нетерпение, а он все еще собирал свое имущество; органы были липкими, он перепачкал руки и вытирал их о мешковину. Из толпы неслась брань. Никому из них не приходило в голову, что каждого ждет такая же участь. Апостол хмурился: Седрик задерживал очередь. Вдруг раздался оглушительный треск мотоциклов. Толпа шарахнулась в сторону, и большой черный автомобиль подкатил к воротам, окруженный эскортом мотоциклов.

Выражение отчужденности исчезло с лица апостола Петра, он приосанился, приняв какой-то даже чрезмерно деловой вид; стражники, молча дирижируя толпой, оттеснили всех подальше; ворота распахнулись. Стражники взяли под козырек. Седрик стоял в толпе, испытывая общие с нею чувства — сострадание, любопытство и благоговейный страх. Медленно пронесли к воротам гроб; мимо сотен глаз проплыли кружева газета, проплыл лакированный черный козырек фуражки и под ним туфлеобразный крупный нос с усами, растущими как бы из ноздрей. Усы были крашенные. Седрик узнал человека, лежащего в гробу. Толпа, объятая священным ужасом, провожала взглядом гроб; на минуту она как бы прониклась уважением к себе, раз и «он» здесь. Гроб исчез в воротах, и створы со скрежетом сдвинулись; гроыхнул засов. Тотчас все, словно опомнившись, бросились к воротам. Произошла давка, и те, кто раньше стоял впереди, оказались сзади.

С вышки послышалась песня часового, кажется, это был какой-то духовный гимн; очередь шла, апостол был занят: люди торопливо развязывали мешки, показывали содержимое корзин, один за другим проходили в ворота. О Седрике же как будто забыли. «Черт знает что такое, — проворчал Петр и, обернувшись, сказал: — Да отойдите вы, ради Бога. Мешаете работать». — «Это произвол, — возразил Седрик, — исходить из природы Божьей значит основываться не на произвольных посылках». — «Кто тебе это сказал?» — грубо бросил апостол Петр и отвернулся. Очередь все шла и шла мимо него.

«Я буду жаловаться», — сказал Седрик упрямо.

«Кому?» — спросил брезгливый голос.

«Королю», — сказал Седрик, забыв, что он и есть король. Впрочем, к лучшему: в толпе его подняли бы на смех, а может быть, и избили бы, вздумай он заикнуться об этом. Внезапная мысль осенила его, и он спросил, показывая на расщелину ворот: «А он? Почему его пропустили?»

«Он — это он», — буркнул голос.

«Но ведь он... вы понимаете, кто это?» — в отчаянии крикнул Седрик.

«Надо быть самим собой, — был ответ. — А ты — ни то ни се. — Говоря это, апостол жестом подозвал стражника. — Убрать, — приказал он коротко. — Под домашний арест».

Слова застряли в горле у короля, но на него уже не обращали внимания. Сзади нажала многоголосая, тяжело дышащая толпа, слышались крики раздавленных. Пламя вспыхнуло за забором. Затрещали доски... Вдруг стало ясно, что деваться некуда и нет спасения.

Таков был этот сон, о котором король поведал Амалии, каковое обстоятельство и сделало возможным для автора настоящих строк упомянуть о нем на страницах своей хроники. Повторяем, мы не склонны разделять мнение ее величества (см. ее «Мемуары»), будто странное это сновидение могло иметь влияние на судьбу короля или как-либо отразиться на его политической позиции. Было бы нелепо предполагать, что человек трезвый и реалистически мыслящий, каким был Седрик X, мог испытать душевный переворот под впечатлением ничего не значащего ночного кошмара. Вместе с тем мы понимаем, что смерть Седрика, последовавшая относительно скоро (приблизительно через полгода), ретроспективно могла дать повод ко всякого рода суеверным

сближениям. Как известно, монарх был расстрелян по приговору трибунала в связи с происшествием, о котором нам предстоит рассказать ниже. Королева Амалия, некоторое время содержащаяся в небезызвестном секторе «Е» женского лагеря Равенсбрюк, осталась в живых и здравствует по сей день: в нынешнем году ей исполняется 94 года. Быть может, психоаналитическая интерпретация упомянутого сна, если он заинтересует специалистов, способна пролить дополнительный свет на личность Седрика X; мы же привели его единственно с целью охарактеризовать общее настроение тревоги, по-видимому, владевшее королем даже в относительно спокойное время, когда ничто, казалось, не предвещало близкого поворота событий.

13

Итак, подытоживая сказанное в предыдущих разделах, можно утверждать, что весной 1942 года в стране наступила относительная стабилизация. Восстановилась будничная, размеренная, почти спокойная жизнь. Абсурд способен «вписаться» в реальную жизнь, где его присутствие оказывается как бы узаконенным, подобно тому как бред и фантастика в мозгу умалишенного уживаются с остатками реализма, достаточными для того, чтобы позволить больному кое-как существовать в среде здоровых. Специалистам известен замечательный феномен *симуляции здоровья* у больных шизофренией. Но нет-нет и внезапная эскапада выдаст пациента и сорвет завесу, за которой скрывается сюрреалистический кошмар его души. Тогда оказывается, что тени, пляшущие там, — порождение пустоты... Пронизывающим холодом веет из этого ничто, из погреба души, над которым в опасной непрочности воздвигнуто здание рассудка; и тянет в этот подвал, где живут только тени...

Тенью, вышедшей из царства абсурда, показался Седрику странный визитер, о прибытии которого с подозрительной многозначительностью возвестил секретарь. В этот час венценосец сидел в кабинете, как обычно просматривая текущие дела. Sidericus Rex — длинными и узкими, как он сам, полупечатными буквами на старинный манер выводил он под бумагами, теперь уже явно потерявшими смысл, с тем же успехом он мог бы расписываться на листках отрывного календаря. Однако, как уже говорилось, внешние контуры жизни в эту полосу затишья вновь обрели устойчивость, и, как будто после наводнения старую мебель, сильно попорченную, но высохшую на солнце, расставили на старые места, и старые часы, кряхтя и постукивая маятником, вновь пошли с того места, на котором застала их катастрофа, — король ежеутренне выслушивал доклад, визировал документы, принимал просителей...

Человек этот, с нарочито нейтральной фамилией, с невыразительной внешностью, так что через пять минут после его ухода король не мог припомнить его лицо, человек неопределенной национальности, то ли натурализованный немец, то ли соотечественник, долго живший за границей, — сослался на дело, не терпящее отлагательства, одновременно личное и государственное, и потребовал аудиенции с глазу на глаз.

Выходя из кабинета, секретарь обнаружил в приемной незнакомых молодых людей, неизвестно как оказавшихся здесь, они были в костюмах разных оттенков, но одного покроя, подобно маркам из одной и той же серии; в коридоре тоже прохаживались неизвестные лица; персонал дворца куда-то исчез, в рабочую комнату войти было невозможно, и вообще в эту минуту секретарь его величества явственно ощутил присутствие в окружающем мире чего-то потустороннего.

В это время в кабинете шел вежливый, очень тихий и очень странный разговор. «Прошу, — Седрик указал на кресло. — Чем могу служить?»

«Государь, — отвечал гость, — первая услуга, которую вы окажете нам, — сохранение в безусловной тайне всего, что здесь будет сказано. И всего, что последует за этим».

«Что вы имеете в виду?» — слегка подняв брови, спросил король. Он напомнил посетителю, что в его распоряжении имеется всего десять минут. «О! — отозвался тот. — Я отлично понимаю, что ваше величество перегружены делами».

«Да, — ответил Седрик. — Я занят».

«Итак?» — сказал гость.

«Что — итак?» — не понял Седрик.

Он снова напомнил г-ну Шульцу, что в приемной ждут другие посетители. Не угодно, ли ему будет перейти к сути дела.

«Не извольте беспокоиться, — улыбнулся гость, очевидно, сознательно пародируя старомодную формулу вежливости. — Я отослал всех».

«Что?» — спросил Седрик.

Вместо ответа человек беспечно попросил разрешения закурить.

Это было нарушением этикета, несколько неожиданным у столь благовоспитанного визитера, но уже через минуту Седрик заметил любопытную метаморфозу, которая происходила с гостем: точно сцену с актером осветил новым светом боковой луч. Безупречный туалет г-на Шульца, его жидкие, слегка волнистые зеленоватые волосы, тускло блеснувшие, когда он выстрелил из крохотного стального пистолета перед кончиком сигареты, — все это осталось прежним, но и как будто переменилось, и глаза, медленно подымавшиеся на Седрика, принадлежали другому человеку. Перед королем сидел гангстер, похожий на рисунки в романах, которые продаются на вокзалах, — так сказать, дежурный гангстер. Что ж, это упрощало обстановку.

Вытянув длинные ноги под столом и скрестив руки, Седрик ждал, что последует за этим перевоплощением.

«Итак, — сказал Шульц, — вы обязуетесь сохранить в секрете наш разговор».

«Смотря о чем мы будем разговаривать», — заметил король.

«Предмет нашей беседы, — сказал Шульц с некоторой торжественностью, — есть дело сугубой государственной тайны».

«Гм, видите ли, содержание этого понятия толкуется в Германии иначе, чем в других государствах. Что касается моей страны, то у нас не принято скрывать от нации что-либо затрагивающее ее интересы».

«Пусть так, — сказал гость. — Но врачебная тайна в вашей стране соблюдается?»

«Конечно. Но при чем тут врачебная тайна?»

«А при том, что вопрос, интересующий моего поручителя, носит, так сказать... медицинский характер. Вот что, профессор, — неожиданно сказал Шульц и швырнул сигарету в угол, где стояла корзина для бумаг. Седрик с любопытством проследил за ее полетом. — Оставим эту дипломатию. Речь идет о больном, которому вы должны помочь».

«По этим вопросам, — произнес король, — прошу ко мне в клинику. Я принимаю по пятницам от двух до...» — и он потянулся к блокноту с гербом на крышке, чтобы записать фамилию пациента.

Г-н Шульц вынул пистолет и вставил в рот вторую сигарету. При этом блеснули его стальные зубы.

«К сожалению... — проговорил он сквозь зубы. Щелкнул курок, но пистолет дал осечку. Очевидно, бензин был на исходе. — К сожалению, больной не имеет возможности посетить вас в клинике. Поэтому, — Шульц выстрелил, — вам придется посетить его. Впрочем, мой поручитель готов пойти вам навстречу — точнее, выехать. Свидание можно устроить где-нибудь на границе».

«А кто он такой?» — спросил Седрик.

«Вашему величеству угодно задать вопрос, на который я не уполномочен ответить. Впрочем, могу сказать, что это самый высокопоставленный, самый великий и самый гениальный человек, с которым вам как врачу когда-либо приходилось иметь дело».

«Вы уверены, — спросил Седрик, — что этому самому великому человеку нужен именно я? Я уролог».

«Вот именно, — ответил гость, заволакиваясь дымом. — Ему нужны именно вы».

«Разве в Германии нет специалистов?»

«Есть. Но они не оказались на должной высоте. К тому же, — он развел руками, это было слабым подобием реверанса, — к тому же репутация вашего величества как специалиста... Поверьте, — заключил г-н Шульц, пристально глядя в глаза собеседнику и понижая голос, — мы в Германии умеем ценить выдающихся ученых независимо от...»

«Независимо от чего?»

«Ну, — гость пожал плечами, — хотя бы... от международной обстановки».

«Так, — сказал король. — Может быть, вы ознакомите меня с историей болезни? Разумеется, в общих чертах».

«Разумеется, разумеется, — подхватил Шульц. — Всенепременно и обязательно. Вам будет представлена вся документация. Во время осмотра».

«Так», — промолвил Седрик. И опять, подумал он, судьба задает ему вопрос, на который он волен ответить отказом. Какое это было бы наслаждение — выгнать вон это ничтожество, спустить его с лестницы! Выскобленный до неестественной гладкости фиолетовый подбородок короля сам собой вознесся кверху, и глаза утратили всякое выражение. В эту минуту он был похож на старого, костлявого и непреклонного зверя — пожалуй, на своего геральдического льва.

Несколько мгновений прошло в обоюдном молчании.

Лев закашлялся.

«Перестаньте курить», — прорычал он.

Шульц покосился на собеседника, скомкал сигарету, пробормотал «Excusez-moi...»* — и стал смотреть в окно, казавшееся матовым от густой завесы тумана.

В непостижимой дали смутно угадывалась башня с часами, она точно парила над клубящейся бездной, и едва заметно золотился ободок циферблата.

Шульц сказал:

«Я бы не советовал упрячиться. Поймите, мы обращаемся к вам как к частному лицу. Я подчеркиваю: как к частному лицу».

Король молчал. Странное дело, но на минуту — не больше — почувствовалось вдруг, что их что-то объединяет. Казалось, помолчи он так еще немного — и гость начнет умолять его сжалиться над ним. Их объединял общий страх.

Г-н Шульц выдержал паузу, затем поднялся и произнес — торжественно, выделяя каждое слово:

«Благодарю вас, ваше величество. От имени имперского правительства, руководства нашей партии и от имени всего германского народа — примите мою сердечную признательность».

14

Свидание состоялось во второй половине апреля (по некоторым данным, в последних числах). Автор не считает себя вправе умолчать о нем, тем более что в западной историографии этот факт не получил освещения. Достаточно сказать, что

* Извините

не только в широко известной книге И. Феста, но даже в шеститомном «Жизнеописании Адольфа Гитлера» профессора Карла фон Рубинштейна о нем нет никаких упоминаний. Вряд ли архивные изыскания последних лет приведут к открытию документов, проливающих свет на эту историю. Можно предполагать, что таких документов не существует.

Таким образом, учитывая скудость информации, наше сообщение приобретает определенный научный интерес.

Мы уже имели случай сослаться на записки ее величества королевы. Пожалуй, это единственный заслуживающий внимания источник, в котором имеется упоминание о поездке Седрика на уединенную загородную виллу. Будучи крайне лаконичным, оно отягощено домыслами в духе скандинавского мистицизма (Амалия пишет о свидании с «Князем Тьмы») и как будто имеет целью намекнуть на особый таинственный смысл этой встречи, якобы предрешившей дальнейшие события. Естественно, мы не можем вдаваться в обсуждение подобных вопросов. Представляется вполне очевидным, что встреча была лишена какого бы то ни было политического значения; читателю будет нетрудно убедиться в этом. Речь идет о любопытном и малоизвестном эпизоде, но не более.

Точно так же следует опровергнуть слухи, одно время распространившиеся, будто король, воспользовавшись этим радеву, просил не применять к его стране некоторых санкций репрессивного характера, в частности возражал против проведения так называемой акции «Пророк Самуил», разработанной Четвертым управлением Главного имперского управления безопасности по крайней мере на полгода позже. Здесь очевидным образом сказывается влияние той самой ретроспекции, на которую мы указали, когда описывали пасхальный сон Седрика. К тому же приватный характер встречи исключал возможность обсуждения государственных вопросов. Фактически там не была затронута ни одна проблема за пределами специальной цели, которую преследовала встреча. Стороны вели себя так, как если бы они вообще не имели никакого касательства к государственным делам.

Более того: стороны делали вид, будто они и представления не имеют, кто они такие на самом деле. Если позволено будет воспользоваться рискованным сравнением, они вели себя подобно тайным любовникам, которые ночью сочтались в мучительной страсти, а на другой день, не подавая виду, спокойно и отчужденно беседуют о делах. Обе стороны точно сговорились не замечать глухой таинственности, которую было окружено их свидание; и то, что вся местность на сто километров вокруг была прочесана патрулями, пронюхана собаками, просмотрена с самолетов, что специальные войска были приведены в боевую готовность на тот случай — абсолютно невозможный, — если бы кто-нибудь вздумал нарушить их уединение, — все это и многое другое точно не имело к ним никакого отношения: они как бы и не подозревали об этих чрезвычайных мерах. Словом, это была встреча больного с врачом — и только.

Газеты поместили краткое сообщение о том, что король покинул на несколько дней столицу для непродолжительного отдыха на лоне природы. Так оно, в сущности, и было. Вилла «Амалия» — крохотный островерхий домик, расположенный в прелестном уголке в тридцати километрах от границы. Вокруг — холмы, поросшие буком. Это — самое сердце малонаселенного лесного края, раскинувшегося к северу от линии Бременер Окс — Люнебург — Фрауэнау.

Седрик приехал на виллу в закрытом автомобиле в сопровождении неизвестных лиц, именуемых «представителями»; один из этих людей сидел с шофером, двое других — по обе стороны от профессора, одетого в скромное дорожное платье.

Пациент прибыл неизвестно каким способом и неизвестно откуда.

Пациент вошел в небольшую гостиную, переоборудованную под смотровой кабинет, — письменный стол, ширма, кушетка, столик для инструментов. Посередине стояло высокое, сверкающее никелированными подколениками кресло.

Снедаемый любопытством (совершенно неуместным), Седрик не спускал глаз с двери — пациент медлил, но когда он наконец появился, то, как и следовало ожидать, совершенно разочаровал профессора; мы сказали: «следовало ожидать», ибо едва ли нужно объяснять читателю, что тот, кто вошел в кабинет, был лишь телом, далеким от совершенства, как все земное, тогда как великий демон, обитавший в нем, демон могущества и всеведения, обретался где-то очень далеко, на недостижимых вершинах. И лишь время от времени это тело, облаченное в мундир, должно было позировать перед миром, дабы мир знал, что демон, владычествующий над ним, — не призрак.

Воздержимся от описания внешности этого человека, предполагая ее хорошо известной; тем более, что это был тот случай, когда, перефразируя древнее изречение, можно было сказать, что важен не сам предмет — в данном случае человек, — а впечатление, которое он оставляет. Вошедший производил впечатление самозванца. Причем самозванца накануне своего разоблачения. Дело не в том, что лицо его с крупным угреватым носом, воспроизводившим очертания дамской туфли, и с небольшими, крашевыми, как бы растущими из ноздрей усами — знаменитыми усами, вошедшими в историю подобно габсбургской губе, — показалось Седрику одновременно и незнакомым, и знакомым, и, пожалуй, даже более располагающим в своей обыденной заурядности; в памяти Седрика как бы сама собой ожила старая и давно развенчанная легенда, будто прославленный диктатор есть не что иное, как круг заместителей, по очереди выступающих под его именем, — так сказать, род коллективного псевдонима.

Не то чтобы в нем сквозило что-то наигранное. Распространенное мнение об «актере», о фокуснике-иллюзионисте, по крайней мере здесь, на уединенной вилле, никак себя не оправдало. Речь идет о другом: о том, что невозможно было отделаться от впечатления, будто перед нами двойник или заместитель. Ничто в его облике не отвечало представлению о демоническом властелине, о гении зла.

Если уж попытаться позитивно охарактеризовать наружность пациента, какую она представилась восседавшему у окна Седрику, то это был директор треста, человек бывалый, выходец из народа, не из тех, кто кончал университеты, а из тех, кто своим горбом пробил себе дорогу в жизни, из каких-нибудь счетоводов-письмоводителей; человек-практик, знающий жизнь и, должно быть, немало встревоженный неожиданным вызовом к высшему начальству по какому-то щекотливому делу. То, что у этого человека должно было существовать начальство, и притом очень строгое, не вызывало сомнений.

Человек этот был прекрасно одет и sprysnut духами, чуть заметно лысел и слегка тряс щеками — словом, лишь самую малость был тронут старостью; губы его с какой-то скорбной предупредительностью были сложены почти вровень с каштановыми усиками, о которых мы уже упоминали. Под мышкой вошедший держал папку — как бы с бумагами для доклада (в действительности это были рентгеновские снимки и анализы). Закрыв дверь, пациент — каблучки вместе, под рукой папка — поклонился сдержанно-подобострастным поклоном.

При этом он не мог удержаться, чтобы не метнуть молниеносный взгляд вправо и влево. Он даже успел скосить взор под стол, на ноги Седрика. Быстро оглядел окно, застекленное пуленепробиваемым и размывающим предметы стеклом.

Профессор пригласил пациента к столу.

Оба как-то легко и без насилия освоились со своими ролями. Пациент приблизился, слегка виляя задом и всем своим видом демонстрируя почтительный трепет, — это было почтение профана к медицинской знаменитости и дань уважения одного делового человека другому. Опасливо сел, уложил папку на колени. Робко приоса-

нился Седрик, величественный, как судья, сурово воззрился на него из-под косматых бровей.

Седрик принял папку с анализами. Пронзительно поглядывая на пациента, он предупредил, что в интересах дела ему придется задать, э-э, несколько специальных вопросов, относящихся, так сказать, к интимной стороне жизни. Больной кивал с серьезным и понимающим видом: дело есть дело. И вкрадчивым голосом, с подобающей скорбью, почтительно наклонив плоскую, блестящую и лысеющую голову, поведал он о своем недуге.

Он старался не упустить ни одной подробности, был многословен, даже красноречив. В этой добросовестности пациента было что-то угодливое, точно он доносил на себя.

По его мнению, причина болезни заключалась в бремени дел, которое он самоотверженно возложил на себя. Поистине мы живем в трудное время; себе не принадлежишь. Так и случилось то, что служебные обязанности, поглотив все его силы, лишили его личной жизни не только в переносном, но и в буквальном смысле: лишили счастья быть мужчиной. Вот уже много лет он знает лишь уродливую форму наслаждения; но женщины по-прежнему привлекают его, как это и должно быть в его возрасте: ведь он еще молод. Увы, он не в силах ответить на их страсть!

Он знает, что пользуется успехом. Неизвестные девушки пишут ему о своей любви; он получает множество писем из-за границы. Секретарь ежедневно извлекает из его корреспонденции десятки фотографических карточек. Некоторые совсем недурны... И что же?

Важно кивнув, доктор остановил этот поток признаний внушительным и умиротворяющим жестом. Просмотрел архив пациента. Ни в одном из документов страдалец не был назван своим настоящим именем. Впрочем, кому было известно его настоящее имя? История болезни демонстрировала все последние достижения медицинской науки. Это был какой-то нескончаемый каталог всевозможных исследований, диагностических и лечебных процедур, и Седрик подивился терпению пациента и его неистощимой вере в могущество врачебной науки. Были мобилизованы лучшие силы. Фирма ИГ Фарбениндурии синтезировала новейший, сугобо секретный гормональный препарат. Предпринимались героические меры реанимации — вплоть до особой, весьма изобретательной психотерапии посредством кинофильмов. По-видимому, были приглашены особо искушенные партнерши.

Отчаявшись получить исцеление от врачей, больной прибег к услугам специалистов оккультного профиля: так, его пользовал маг Тобрука Ишхак 2-й, знаменитый гипноспирит, весьма сведущий в области нервно-половых расстройств. После его консультации директор несколько ободрился, но первое же свидание с прелестной огненноволосой Марикой Рокк повергло его вновь в пучину разочарования.

Седрик встал. Тотчас поднялся и пациент, стал навтыяжку, ожидая приказаний. Глаза его выражали бесконечную преданность.

Величественно-гостеприимным жестом профессор указал на ширму.

Анализируя последующие впечатления Седрика, нужно прежде всего сказать, что он постарался отрешиться от каких бы то ни было «впечатлений». С момента, когда он задал первый вопрос больному, весь комплекс профессиональных рефлексов направил его внимание на сущность болезни, и лишь путем, так сказать, вторичной рефлексии ум Седрика возвратился к пониманию совокупной личности пациента. Так в течение десяти минут абстрактный человеческий орган, именуемый *locus minoris resistentiae*, превратился вновь в персону директора треста. Но теперь многое из того, что могло озадачить или даже изумить стороннего наблюдателя, по зрелом размышлении выглядело не столь уж неожиданным.

Выражаясь яснее — начиная с известного момента Седрик ничему уже не удивлялся.

Не удивила его и татуировка. Директор предстал в нежно-голубой нижней сорочке и шелковых носках; и когда по знаку врача, пожелавшего произвести общий осмотр, он покорно и целомудренно приподнял сорочку, обнажилась несколько избыточная грудь и на ней — длинный кинжал с изогнутой рукояткой и надпись «*Смерть жидам*», — разумеется, на родном языке владельца. Надпись подтверждала версию о демократическом происхождении директора. На левой руке, ниже локтя, были изображены гроб и пронзенное сердце и начертан второй девиз: «*Es gibt kein Glück im Leben*» («Нет счастья в жизни»).

Слегка смутившись, пациент пробормотал что-то насчет заблуждений юности... В эту минуту осмотр был неожиданно прерван. Ни с того ни с сего пациент попятился; глаза его расширились. Руки судорожно вцепились в детородные части. «Ни с места, — зашептал он. — Ни с места!» Седрик, с трубками фонендоскопа в ушах, обернулся. С большим трудом ему удалось успокоить больного, но так и осталось непонятным, что он там увидел под столом.

Как и подобает человеку зрелых лет, недостаточно тренированному и к тому же больному, он протянул дрожащую руку профессору, и тот помог ему вскарабкаться на высокое кресло. Отсутствие ассистентки несколько удлинило исследование.

Когда оно было закончено, Седрик дал время пациенту привести себя за ширмой в порядок, еще раз задумчиво перелистал бумаги, просмотрел на негатоскопе рентгеновские пленки. И наконец воззрился на пациента тусклым, старчески-невзрачным взглядом. И в этом взгляде пациент прочитал свой приговор.

По-видимому, впервые в своей многолетней практике Седрик изменил врачебному долгу, повелевающему ни при каких обстоятельствах не лишать больного надежды. Само собой разумеется, что, не будучи специалистом, автор лишен возможности дать компетентную оценку заключению Седрика о характере заболевания директора треста, однако не директор является героем этих страниц. Характеристика же Седрика несколько не пострадает от того, что мы опустим заключительные подробности этой замечательной консультации. Прикрыв глаза рукой, Седрик сказал, что болезнь неизлечима. Он даже позволил себе заметить, что в некотором смысле она может быть истолкована как Божий перст. Перспектива могла бы быть несколько более утешительной, если бы пациент согласился сложить с себя, э-э, свои обязанности. Так сказать, удалиться на покой. Однако и в этом случае рассчитывать на исцеление трудно.

15

«...Этот народ, который загрызла волчица, расплющенный под пятой легионов, народ, на глазах у которого рухнул и превратился в пыль его храм, этот трижды обреченный, отвергнутый собственным Богом народ пережил и единственное в своем роде крушение духа, после которого он, подобно восставшему от болезни, навсегда понес в себе семя глена, заразу разложения, ибо, как сказал германский поэт, проклятие зла само порождает зло».

Раскрывая утренние газеты, обыватели без труда узнавали в этой статье, перепечатанной из философского еженедельника «Дер баннертрегер», полный экспрессии стиль выдающегося мыслителя рейха Ульриха Лоэ, человека, прозванного «совестью века», ныне генерала СС и заместителя начальника Управления теоретических изысканий при Главном Управлении безопасности.

«К этому крушению, — продолжал Ульрих Лоэ, — народ этот был подготовлен десятью веками своей истории; его летопись и символ веры, в котором устами Все-

вышнего он провозглашает себя избранным народом, — пресловутое Священное Писание — рисует его таким, каков он на самом деле: избранным народом преступников, ибо это летопись нескончаемой цепи убийств, подлогов и кровосмешений.

Однако даже противоположное толкование Библии в равной мере уличает этот народ, так как если он записал в свою книгу (как уверяют его адвокаты) заповеди добра, то сам же первый их и нарушил: проклятие зла, тяготеющее над ним, состоит, между прочим, в том, что против него, против этого народа, одинаково свидетельствуют как исторические улики, так и то, что служит их опровержением. Докажут их или докажут противоположное — он все равно будет достоин кары.

Так, он виновен в том, что совершил преступление против человечества, истребив своего мессию Христа, и вместе с тем виноват в том, что создал и распространил христианство. Этот народ одинаково виноват и с точки зрения верующих, и с точки зрения атеистов. Запятнанный кровью богочеловека, он несет ответственность и за то, что породил его, и за то, что его никогда не существовало, если окажется, что этого богочеловека не существовало. В конечном счете проклятие зла состоит в том, что этот народ виноват уже самим фактом своего существования.

Потерпев крах, он рассеялся среди других племен, чтобы бросать повсюду семена разложения и упадка, и мог бы неслыханно преуспеть в этом деле, если бы нордические народы своевременно не разгадали его. Они поняли, с кем они имеют дело в лице этих хитрых, изворотливых, даровитых, необычайно живучих, потентных в сексуальном отношении, но физически слабых пришельцев с дегенеративной формой лба, бегающими глазами, длинным и крючковатым носом, склонных к шизофрении, диабету, болезням ног и сифилису. Юные нации Европы приняли свои меры, и менее чем за двести лет, с начала XIV века по 1497 год, этот народ был изгнан из Германии, Франции, Испании и Португалии.

Тогда второй раз в истории открылась возможность покончить с ним навсегда. Нации не воспользовались этой возможностью. И очень скоро евреи, со свойственной им изворотливостью, наверстали упущенное. С необычайной энергией они взялись за дело, вредя всюду, где только можно, провозглашая буржуазный прогресс, ратуя за демократию и незаметно опутывая весь мир властью денег. Они захватили в свои руки торговлю и кредит, с рассчитанным коварством утвердились в медицине, монополизировали ремесла и втерлись в доверие к государям, подавая им губительные советы. Не кто иной, как еврейские плутократы были виновниками всех несчастий, поразивших Европу, да и не только Европу, на протяжении последних столетий. А во тьме своих синагог они тайно торжествовали победу и с мстительной радостью прищипывались опресноками, замешенными, как это неопровержимо доказано еще в XII веке, на крови невинных детей.

К числу наиболее зловредных последствий буржуазно-либерального прогресса следует отнести равноправие евреев, провозглашенное сначала в Америке, а затем во Франции в результате Французской буржуазной революции, инспирированной самими евреями. Следствием этого было глубокое *проевреивание* населения в упомянутых странах. Постепенно по всей Европе они захватили гражданские права, так что к началу нашего века лишь две нации оставались на позициях здорового инстинкта самозащиты — Россия и менее безупречная в других отношениях Румыния...

Все это привело к тому, что внешне евреи зачастую *перестали отличаться от неевреев*. Умение принимать облик обыкновенных людей нужно считать особо опасным свойством иудейской мимикрии. Но *субстанция* еврейства *не изменилась*. Она не исчезла и не растворилась. В полной мере она сохранила свою губительную силу, о чем предостерегает пример большевистской лжереволуции, все главные деятели которой, как известно, были евреи.

Ныне перед народами вновь открывается возможность решить историческую задачу ликвидации иудейского ига. Задача эта всесторонне обоснована достижениями эрббиологической науки. Путь к ее осуществлению указывает народам Великая Февральская национал-социалистическая революция. Совесть революционеров всех стран, все прогрессивное человечество больше не могут мириться с засильем еврейского плутократического капитала, с международным сионистским заговором. *Пролетариат всех стран, объединяйся в борьбе с еврейством.* Народы требуют покончить с заклятым врагом человечества — международным сионизмом. Народы требуют покончить с угнетением. Самуил, убирайся прочь! — твердо говорят они. — Ревекка, собирай чемоданы!»

16

О том, что власти собираются осуществить мероприятие под кодовым названием, уже упомянутым нами в одном из предыдущих разделов, король узнал не по официальным каналам. Он услышал о нем в клинике, в ту минуту, когда, облаченный в белую миткалевую рубаху и бумазейные штаны, в клеенчатом фартуке, шапочке и полумаске, он стоял над дымящимся тазом, осторожно опуская в воду, пахнущую нашатырем, свои тонкие и длинные руки.

Привычными движениями он растирал комком марли в воде свои пальцы — с таким усердием, как будто хотел стереть с них самую кожу, — и в это время до него донеслись две-три фразы. Он не терпел посторонних разговоров в операционной и тотчас потребовал, чтобы ему объяснили, в чем дело.

Оказалось, управление имперского комиссара расклеило в городе приказ о регистрации некоторой категории гражданских лиц, с каковой целью этим лицам предписывалось явиться в местную комендатуру и в дальнейшем носить нагрудный опознавательный знак.

Мера эта не должна была никого удивить, да и не скрывала в себе никакой тайны относительно дальнейших мероприятий в этом направлении, ибо на всех территориях, контролируемых рейхом, уже начато было проведение программы, имевшей целью радикально оградить европейские нации от соприкосновения с чуждым и пагубным элементом.

Седрик промолчал, дав понять, что здесь не место обсуждать подобные темы. Да и вообще они не заслуживали обсуждения. Впрочем, среди персонала клиники евреев не было. Он выпрямился, морщась от боли в пояснице, вдумчиво осушил складки кожи между пальцами стерильной марлей. Мякоть пальцев собралась в складочки, как у прачки. Вытирание рук представляло собой сложный ритуал: вначале кончики пальцев, основания ногтей, суставы, ладонь, которую он держал на отлете, как женщина держит зеркало; затем тыльные стороны кистей, наконец, опасливо свернув комок марли, — запястья. Последний взмах от косточки к локтю — марля летит в эмалированное ведро. Шурша передником, полузакрыв старческие глаза, король прошествовал к стеклянным дверям. Свои руки он нес перед собой, словно некий дар. Двери распахнулись. Больная спала, над ней сверкала круглая лучезарная лампа.

Наркотизатор ждал у изголовья. Другой доктор, ответственный за переливание крови, стоял, утвердив, как алебарду, блестящую стойку с ампулой. За своим лотком стояла операционная сестра, закутанная в марлю. Приготовления к операции наводили на мысль о богослужении. Седрик любил эту торжественность.

Иностранец-стажер усердно помахивал палочкой — обрабатывал йодом операционное поле. А напротив всей этой группы, за спиной стажера, вся верхняя часть стены была вырезана и заменена толстым стеклом, и там видны были тесно прижатые друг к другу неподвижные лица студентов.

Последовала церемония надевания стерильного халата: две сестры суетились вокруг него. Одна завязывала на спине тесемки, другая подала перчатки — король нырнул сначала в правую, потом в левую, сложив щепотью персты. Ему подали щипцами шарик, плеснули спирт; подтянули и перебинтовали у запястий перчатки. Ему заботливо поправили шапочку. Оглядели его напоследок — точно ища последние пылинки. И Седрик подошел к столу.

Седрик ни о чем больше не думал. Он не думал о бездне абсурда, в которой эта белая операционная, — где он вполне принадлежал самому себе, где ему по праву принадлежало первое место, — казалась ему единственным островком разума и покоя. Он повернулся к сестрам, они сняли простыню и придали спящей женщине нужное положение на столе. Иностранец узкими раскосыми глазами над маской смотрел на Седрика. В его жизни это был великий момент. Иностранец был мал ростом, и ему подвинули скамеечку. Затем с его помощью Седрик набросил стерильную простыню на прекрасное обнаженное тело. В ней было вырезано четырехугольное окно.

Сестра, покрытая марлевой фатой, подъехала со своим лотком.

Седрик стоял над столом, неправдоподобно высокий, халат доходил ему до бедер; склонив сухую голову с большим хрящеватым носом, торчавшим над маской, как клюв, он всматривался в оливковый от йода квадрат кожи в операционном окне. Больная глубоко и мерно дышала; это было видно по движениям груди под простыней. Пальцы короля как бы струились по ее коже: он отыскивал ориентиры. Ассистент, с тупфером и раскрытым наготове кровоостанавливающим зажимом, навис над его руками. Сказав что-то ассистенту по-французски, Седрик взял скальпель и не спеша провел длинную дугообразную линию от паха к пояснице. Этот разрез, известный под названием разреза Израиля, удачно открывал доступ к почке, но в других обстоятельствах никому не пришлось бы в голову увидеть в этом названии некое предзнаменование.

17

Приступая к заключительному эпизоду этой краткой хроники последних лет жизни короля Седрика X, эпизоду, достаточно известному, почему он и будет изложен максимально сжато, без каких-либо экскурсов в психологию, — мы хотели бы предпослать ему несколько общих замечаний касательно малоисследованного вопроса о целесообразности человеческих поступков. Мы решаемся задержать внимание, читателя на этой абстрактной теме главным образом потому, что хотим предостеречь его от распространенной интерпретации упомянутого эпизода, согласно которой король отважился на этот шаг или, как тогда говорили, «отколол номер» в результате обдуманного решения, так сказать, взвесив все pro и contra, и чуть ли не рассчитал наперед все общественно-политические последствия своего поступка — кстати сказать, сильно преувеличенные. Слишком многие в то время видели в короле своего рода оплот здравого смысла, слишком многим он казался образцом разумного конформизма, человеком, который в чрезвычайно сложных обстоятельствах сумел найти правильную линию поведения, избежать крайностей и спасти от катастрофы свой незащищенный народ, сохранив при этом свое доброе имя. И когда этот умудренный жизнью муж совершил поступок явно нелепый, почти хулиганский и имевший следствием неслыханное нарушение общественного порядка в столице — поступок в конечном счете стоивший ему жизни, — многие тем не менее склонны были за бросающейся в глаза экстравагантностью видеть все тот же расчет. Казалось, Седрик преследовал определенную цель, действовал по заранее разработанному плану. Ничего подобного. На основании анализа всего имеющегося в его распоряжении материала автор заявляет,

что шаг короля был именно таким, каким он представлялся всякому непредубежденному наблюдателю, — нелепым, бессмысленным, не обоснованным никакими разумными соображениями, не имеющим никакой определенной цели, кроме стремления бросить вызов всему окружающему или (как выразился герой одного литературного романа) «заявить своеволие».

Где уж там было рассчитывать общественные последствия своей выходки! На короля нашел какой-то стих. Хотя, надо сказать, внешне это никак не проявлялось. (См. ниже описание утренних приготовлений, совершившихся с обычной для нашего героя унылой методичностью, словно он собирался на прием к зубному врачу.)

Впрочем, воспоминания королевы да и другие источники указывают на некоторые отклонения от привычного стандарта, имевшие место накануне обсуждаемого события: так, например, было отмечено, что король вернулся из клиники в необычно приподнятом настроении. Это настроение сохранялось у него весь вечер. Вместо вещей Генделя и Букстехуде исполнялись фрагменты из оперетки Оффенбаха — кстати, строжайше запрещенного к исполнению на территории рейха и подопечных стран — «Великая герцогиня Герольштейнская» и даже просто вульгарные песенки, которые его величество напевал хриплым фальцетом. По некоторым данным, он склонял свою невестку — ту самую особу немецкого происхождения, не скрывавшую своей влюбленности в фюрера, — протанцевать кадрили. Ночью Седрик пил в больших количествах щелочную минеральную воду.

В этой связи представляют интерес наблюдения королевы о наследственной черте, периодически проявлявшейся у различных представителей династии, черте, которую она определяет как «любовь к безумию». Именно эта любовь (*predilection*) объясняет, по мнению мемуаристки, необъяснимое поведение двадцатитрехлетнего командира гвардии, приходившегося внучатым племянником королю, в первый день оккупации; следствием этого поведения была, как помнит читатель, бессмысленная гибель гвардейского эскадрона вместе с его командиром. Она же позволяет понять поступок кронпринца Седрика-Эдварда, старшего сына короля, покинувшего страну якобы для лечения, а на самом деле для того, чтобы вступить в английские военно-воздушные силы. И уже совершенно излишне говорить, насколько эта черта была свойственна пресловутому «северному кузену» Седрика, не однажды упомянутому на этих страницах.

Сугубо схематически поведение человека в ответственные моменты его жизни можно представить как следование одному из трех заветов, из которых наиболее почетным с философской точки зрения надо признать завет недеяния, возведенный тысячу лет назад мудростью даосизма. Однако реально мыслящему человеку, вынужденному считаться с эмпирической действительностью, более импонирует завет разумного и целесообразного действия — того действия, которое основано на трезвом учете объективных обстоятельств и, более того, априори как бы запрограммировано ими. Априори известно, что плетью обуха не перешибешь. Тезис, который находит себе значительно более изящную формулировку в положении о свободе как осознанной необходимости.

Третий завет есть завет абсурдного деяния.

Абсурдное деяние перечеркивает действительность. На место истины, обязательной для всех, оно ставит истину, очевидную только для одного человека. Строго говоря, оно означает, что тот, кто решился действовать так, сам стал живой истиной. Человек, принявший бессмысленное решение, тем самым ставит себя на место Бога. Ибо только Богу приличествует игнорировать действительность.

(Можно предполагать, что именно это соображение было источником явного неодобрения, с которым встретили эскападу Седрика и все, что за ней последовало, конфессиональные круги.)

Самым решительным опровержением доктрины бессмысленного деяния (если это вообще можно назвать доктриной) служит то, что оно не приводит ни к каким позитивным результатам. Опять же всем и каждому ясно, что плетью обуха не перешибешь. И дело обычно кончается тем, что от плетки остается одна деревяшка. Смерть Седрика не повлияла на исход войны, этот исход решили другие факторы — исторические закономерности эволюции рейха, реальная мощь противостоящих ему сил. Акт (или «номер»), содеянный монархом, не облегчил даже участи тех, в чью защиту он выступил, вопреки легенде о том, что-де под шумок удалось кое-кого переправить за границу, спрятать оставшихся и т. п.; это как раз и доказывает, что акт был совершен по наитию, без всякого плана. Подвиг Седрика, этого новоявленного Дон Кихота, был бесплоден. И если можно говорить о его реальных последствиях, то разве лишь о том, что король заразил на какое-то время своим безумием более или менее ограниченное число обывателей. После этих замечаний читателю станет понятным то очевидное пренебрежение, с которым биографы короля описывают этот нелепо-романтический жест, завершивший долгую и в целом не лишённую привлекательных сторон жизнь Седрика Десятого..

18

Утро следующего дня, мягкое и пасмурное, не было ознаменовано никакими событиями, если не считать того, что тотчас после обычных занятий в кабинете король распорядился принести ему *эту вещь*. Он потребовал даже два экземпляра сразу. Секретарь слышал этот приказ и ломал голову над тем, что бы это могло значить. Затем, на половине королевы (Амалия с ужасом следила за этими приготовлениями), Седрик отослал камеристку, попросив оставить все необходимое на столике перед зеркалом. В конце концов он был хирург и старый солдат и вполне мог управиться с нитками сам. Однако он придавал значение тому, чтобы это сделала Амалия. Нужно было поторопиться, ибо близился Час короля, а Седрик не мог позволить себе опоздать хотя бы на минуту.

Он успел переодеться — как всегда, на нем был зелено-голубой мундир лейб-гвардейского эскадрона, шефом которого он считался; Рыцарскую звезду, однако, пришлось снять, так как инструкция предписывала ношение гексаграммы на той же стороне, то есть слева. И теперь он стоял, терпеливо вытянув руки по швам и задрав подбородок, пока Амалия, едва достававшая ему до плеча последнюю волной своего пышного желто-седого шиньона, возилась с иглой и откусывала зубами нитку, словно какая-нибудь жена почтаря, пришивающая мужу пуговицу перед тем, как отправить его на работу. Но оба они, в конце концов, ходили на пожилую провинциальную чету и ни на кого более. По его указанию она пришила и себе. Произошло некоторое замешательство, почти смятение немолодой дамы, вынужденной совлечь с себя платье в присутствии мужчины. Закатился под стол наперсток. Словом, на все ушла уйма времени.

А затем некий молотобоец начал на башне бить медной кувалдой в медную доску. Двенадцать ударов. И что-то перевернулось в старом механизме, и куранты принялись торжественно и гнусаво вызванивать гимн. Часовой в костюме, воскрешающем времена д'Артаньяна, почтительно отворил ворота. По аллее шел Седрик, длинный как жердь, ведя под руку торопливо семенящую Амалию. Происходило неслыханное нарушение традиций, ибо конь рыцаря тщетно гневался, бия копытом в прохладном сумраке своего стойла. Король отправился в путь пешком.

Прохожие остолбенело взирали на это явление, впервые видя короля не в седле и об руку с супругой, но главным образом были скандализированы неожиданной и ни

с чем не сообразной подробностью, украшавшей костюмы шествующей августейшей четы. Перед тем как свернуть на бульвар, навстречу идущим попался низкорослый подслеповатый человек, он брел, клейменный тем же знаком. На него старались не обращать внимания, как не принято смотреть на калеку или на урода с обезображенным лицом; зато с тем большей неотвратимостью, точно загнипнотизированные, взоры всех приковывались к большой желтой шестиугольной звезде на груди у Седрика X и маленькой звезде на выходном платье королевы.

Эта звезда казалась сумасшедшим видением, фантастическим символом зла; невозможно было поверить в ее реальность, и непонятен был в первую минуту ее смысл. Иные решили, что старый король рехнулся. Приказ имперского комиссара чернел на тумбах театральных афиш и на углах домов.

Закрывать глаза. Немедленно отвернуться. А эти двое все шли...

Родители уводили детей.

Нет сомнения, что в эту минуту в канцелярии ортскомиссара уже дребезжал тревожный телефон. Оттуда неслыханное известие понеслось по проводам дальше и выше, в мистические недра власти. Было непонятно, как надлежит реагировать на случившееся.

В это время выглянуло солнце, слабый луч его просочился сквозь серую вату облаков, заблестели мокрые сучья лип на бульваре. Ярко заблестела мостовая... Быть может, читатель замечал, как иногда атмосферические явления неожиданно решают трудные психологические проблемы. Вдруг все стало просто и весело, как вид этих двух стариков. Король все чаще приподнимал каскетку, отвечая кому-то; Амалия кивала тусклым колоколом волос, улыбалась засушенной улыбкой. Король искал глазами библиотекаря. Библиотекаря нигде не было.

Король со стариковской галантностью коснулся пальцами козырька в ответ на поклон дамы, которая быстро шла, держа за руку ребенка. У обоих на груди желтели звезды, это можно было считать редким совпадением: согласно церковной статистике в городе проживало не более полутора тысяч лиц, имеющих право на этот знак.

Далее он заметил, что число прохожих с шестиугольником становилось как будто больше. Седрик покосился на Амалию, семенившую рядом, — на каждый шаг его приходилось три шажка ее величества. Амалия поджала губы, ее лицо приняло необыкновенно чопорное выражение. Похоже было, что эти полторы тысячи точно стоворились выйти встречать их; эти отверженные, отлученные от человечества вылезли на свет Божий из своих нор, вместе с ними они маршировали по городу, разгуливали по улицам без всякой цели, просто для того, чтобы показать, что они все еще живут на свете! Однако их было как-то уж слишком много. Их становилось все больше. Какие-то люди выходили из подъездов с желтыми лоскутками, наспех приколотыми к пиджакам, дети выбегали из подворотен с уродливыми подобиями звезд, вырезанных из картона, некоторые нацепили раскрашенные куски газеты. На Санкт-Андреас маргт, напротив бульвара, стоял полицейский регулировщик, держа в вытянутой руке полосатый жезл. Полисмен отдал честь королю, на его темно-синем мундире ярко выделялась канареечная звезда. И он был из этих полутора тысяч. Итак, статистика была посрамлена, либо приходилось допустить, что его подданные приписали себя сразу к двум национальностям, а это, собственно, и не означало ничего другого, как только то, что статистика потерпела крах.

Королева устала от долгого пути, король был тоже утомлен, главным образом необходимостью сдерживать чувства, характеризовать которые было бы затруднительно; во всяком случае, он давно не испытывал ничего похожего. Ибо это был счастливый день, счастливый конец, каковым мы и завершим нашу повесть о короле. По дороге домой Седрик воздержался от обсуждения всего увиденного, полагая, что комментарии по этому поводу преждевременны или, напротив, запоздали. Он обратил внимание

Амалии лишь на то, что липы рано облетели в этом году. Они благополучно пересекли мост, ведущий на Остров, и обогнули дворцовую площадь, Мушкетер, опоясанный шпагой, с желтой звездой на груди, распахнул перед ними кованые ворота.